НАДЕЖДА ПОВЕДЕНОК

И ВНОВЬ АПРЕЛЬ...



ПОВЕСТИ

НАДЕЖДА ПОВЕДЕНОК

И ВНОВЬ АПРЕЛЬ...

ПОВЕСТИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»
Алма-Ата — 1930

Р 2
П 42

Поведенок Надежда.

П 42 И вновь апрель...: Повести.— Алма-Ата: «Жазушы», 19 .— 144 с.

В новую книгу Надежды Поведенок вошли две повести: «И вновь апрель...» и «Жил-был актер».

Героиня первой — девочка из села, Лиля Никитина, уезжает в город учиться, возвращается в родную Петровку учительницей. Выбор жизненного пути, стремление к большой любви, поиски нравственного идеала — вот те вопросы, которые ее волнуют.

Повесть «Жил-был актер» рассказывает о Борисе Блинове, создавшем в довоенных и фильмах периода войны образы советских политработников. Среди многих его работ незабываемый Фурманов в «Чапаеве».

Р 2

П $\frac{70302-16}{402(05)79}$ **Доп.— 80** **4702010200**

И ВНОВЬ АПРЕЛЬ...



ДОМ

Дом Никитиных стоял на краю деревни, у леса. Сложенный из бревен, выкрашенный в зеленый цвет, он белел ставнями и резными воротами, к которым вела вымощенная кирпичом дорожка. Под окнами на улице круглилась куртина ромашек.

А чтоб скотина и птица не мешали и грязь не таскалась за ногами, был еще один двор. В него загонялась корова с теленком, овечки, ходили куры, полоскались в яме под лесочком утки.

Соседки недолюбливали Марью за то, что она так водит свой дом. Опрятный и красивый, он был укором их нерадивости.

— Ей хорошо,— говорили бабы,— с задов загонять скотину можно, а тут все в одном месте.

Замостить дорожки или проложить деревянный тротуарчик во дворе мог бы каждый, а почему-то не делали. Вместо земляных полов сделать деревянные могли бы тоже — не заведено почему-то было.

— Ей хорошо,— торочили бабы,— Иван каждую досточку в дело произведет. Вон как ставни отделал...

Ставни могли бы заказать тому же Ивану, но заказывали редко.

А когда Иван отделал, точно кружевом, фронтон, бабы, опять же укоряя Марью, говорили:

— Чего ей, за спиной такого мужа...

А Марья и правда, когда что-то делал Иван, то и дело прибегала, всплескивала руками, ахала:

— Да как же ты смог!..— и Ивану Никитину казалось, что он еще и не то сможет, только б нравилось Марье.

На выучку к Ивану мог бы прийти каждый мужик, но гордость не позволяла.

И приходил к Ивану только сосед Егор. Его огород упирался в конец никитинского. У Егора была больная бездетная жена, мужик мог бы попивать с горя, но был он человек трезвости отменной.

У Ивана Никитина во второй половине двора стоял небольшой деревянный сарайчик-мастерская. Там он и столярничал, и плотничал. Егор помогал. Вскоре и дом кузнеца заблестел белыми резными ставенками, украсился расписными воротцами.

Может, и еще кто из мужиков захотел бы, глядя на мастеров, себе попробовать, да началась война, и ушли мужики на фронт.

С войны вернулись и Иван, и Егор. Только Иван вернулся с опухшими ногами, а у Егора умерла жена, хата пустовала.

Но по-прежнему сходились в мастерской вечерами кузнец Егор Степанович и хозяин двора Никитин Иван, кто-нибудь с конбазы из мужиков на огонек заворачивал, курили, вспоминали фронт, иногда читали газету, судили-рядили сегодняшнюю колхозную жизнь.

О бобыльной жизни Егора говорили только раз. Он сказал:

— Одна баба в деревне по сердцу, да мужик ее вернулся, фронтовик.

Никитин допытываться не стал.

Марья Никитина иногда бегала к соседу полы помыть, подбелить. Он обычно в таких случаях в мастерской Ивана отсиживался, дымил самокруткой.

Однажды перекладывали печь у Егора. Вечером Марья поштукатурила ее, оглядела, нет ли изъяна, вымыла руки, присела на табуретке у стола, устало щурясь на лампу-семилинейку. Егор Степанович вдруг подошел к ней, обнял крепко. Она до того растерялась, что поначалу и сказать ничего не могла.

— Маруся,— он уже отошел от нее, чтоб справиться с волнением,— люблю я тебя. Давно, еще при жизни покойницы...

Марья растерянно молчала.

— Так что ж ты от меня хочешь?— наконец спросила она смело. Эту смелость ей придавала давняя привязанность Егора Степановича к ним, Никитиным.

— Не знаю,— сказал он.— Сил нет. Наверно, ходить к Ивану перестану.

— Да как же? Столько лет дружите...

— Вот и дружите...

— Бабенку себе, что ли, какую бы нашел,— посоветовала она.— Вон хоть бы Ленку Перекатову...

— Бабенки ко мне бегают,— сказал он с прямотой.— Только хозяйкой никого не хочу, кроме тебя.

— Да как же?

— А вот так же...— он снова подошел к ней.— Авось дождусь своего часа.

— Ты на что намекаешь?— взвилась она.— Если ты дурные мысли затаил, то и на порог к нам ни...

— Ну, чего ты?— он протянул к ней руку. Его корявые пальцы с плоскими от кузнечной работы ногтями погладили ее локоть.

— Никаких дурных мыслей у меня, Маруся, нет,— продолжал он со вздохом.— Только почему-то уверен я, что быть нам с тобой. А когда, не знаю.

— Откуда же у тебя взялась уверенность?— нервно спросила она.

Она смотрела на него чуть исподлобья.

У Егора дрогнули надбровные дуги, он круто свел смоляные брови.

— Чего об этом толковать,— махнул он рукой.— Только знай, что ни в какой беде я тебя не оставлю.

— Спасибо,— сказала ровно. И поднялась, легко, статно, будто не работала целый день.

— Провожу,— сказал коротко Егор Степанович. Застегнул рукава гимнастерки, поправил наползавший на глаза чуб.

В сенцах в темноте он схватил ее за плечи, притиснул к стене и начал жадно целовать, шепча что-то невнятное, тревожное.

Она могла только повторять в перерывах:

— Дурной, ох, дурной, кричать буду...

Вернулась она тропкой по огородам, села у пригона на охапку травы, покачала головой.

— Господи, стыд-то какой... Всю войну продержалась... А тут что же? А ну как хвастанет кому Егор? Скажет, Марью-то тискал... Славы не оберешься... Вот грех-то... А ласковый, паразит,— засмеялась она, прислушиваясь, как сладостно заныло все внутри при воспоминании.

На крыльцо выскочила дочка, осмотрелась, сказала:

— У него и огня-то не видно!

— Рая,— позвала Марья,— вы ложитесь, я посижу еще немного. Голова горит.

Райка постояла в раздумье на крыльце, скрылась в сенцах. Вскоре тяжело вышел Иван, позвал жену. Она торопливо пошла навстречу, полуобняла мужа, прижалась, он обнял ее. Так постояли, послушали двор.

— Что с тобой?— спросил он.

— С головой что-то, затошнило,— она очень естественно соврала, неврущая Марья.

— Все сделала у Егора?— спросил он.

— Все, пойдем спать.

Егор Степанович по-прежнему бывал у соседей, помогал с сенокосом, девчонки — Лилька и Райка — бегали к нему убирать, третья, Галька, лазила по лопухам — искала куриные яйца и торжественно приносила в подоле, на что дядя Егор обычно отвечал:

— Вот и ладно, сварите себе.

И только раз, когда Ивана положили на месяц в больницу и надо было перевозить сено, Марья решилась поехать с Егором.

Еще не серело за окнами, когда он подогнал пароконную бричку. Копны стояли километра за три от деревни.

Осталась в памяти у обоих эта августовская ночь с запахом лета в свежем воздухе, звездами усыпанное небо, постепенно набиравшее туман и свет, тяжелый ход коней и натужный скрип колес, приглушенные расстоянием далекие гудки паровозов со станции и невысказанные друг другу мысли.

ДИЧОК

Чтобы сократить путь, Лилька пошла не по улице, а через огороды. Мерзлая трава похрустывала под валенками. В соседнем огороде около яблонь что-то высматривал незнакомый мальчишка. Он был одет в полупальто и шапку. Судя по росту, он мог учиться в девятом классе. Лилька подумала, что это, наверное, приехал к Суровым из деревни их знакомый и что он проверяет петли, которые поставил Женька Суров. Сюда, на окраину города, залетали куропатки.

Лилька заметила, что мальчишка красив. Некоторое время она еще думала о нем, о том, попалось ли что в Женькины петли, а потом прибавила шагу и заторопилась на большак. Ей надо было пройти еще с километр, а машин что-то не видать. Почему-то она была уверена, что ее обязательно подвезет машина.

Уже давно никто не приезжал из дома, она кормилась хозяйскими харчами и, проснувшись сегодня, решила идти в деревню. На ней была редкая вязаная шаль, которую она подвернула вчетверо, и суконное мальчишечье пальтишко, которое грело хорошо, но было уже коротко-

вато. Валенки хорошие, подшитые отцом, но морозило через тонкие нитяные чулки. Это она почувствовала, когда вышла на большак. Колени совсем замерзли.

Она присела, согрела их полами пальто и пошла дальше, изредка оглядываясь назад, на город, не видать ли машины.

Ветер как назло дул навстречу, выбивал слезы. Она поворачивалась спиной и шла пятками вперед. Город удалялся нехотя. Большак был пуст.

Она ободряла себя, представляя весь путь до своей деревни: сначала десять километров прямиком — до Карпушина, там она у кого-нибудь обогреется, потом немецкая Поповка, она тоже зайдет к кому-нибудь, потом Приютное, а там их Петровка.

После обеда она придет, отец поищет подводу, и ее увезут на ветку — утром завтра в школу.

Если бы Лилька была чуть постарше, она бы, может, отрешилась от своего безрассудства, но ей было только двенадцать лет, и она очень соскучилась по дому. Ей хотелось поспать на горячей печке, поесть горячего хлеба, лепешек с запеканкой-картошкой, сбегать к своим подружкам — все-таки одна только Лилька пошла в пятый класс в город. Остальные девчонки после четвертого дома остались — в колхоз пойдут, или в ФЗО, или в ремесленное. Много не вернулось отцов с фронта. Ее вернулся. Только больной весь — ноги опухшие, еле ходит. Говорит, в окопах застудился.

Дома две маленькие сестренки — Райка и Галька: одна ходит в третий, другая — в первый. И по ним соскучилась Лилька.

Она убыстряет шаг, потирает на ходу совсем замерзшие коленки, но это мало помогает. Тогда она снимает варежки, сует их под чулки, а руки прячет в карманы.

Появляются первые кустики — это уже начинается сельское. Кустики реденькие, в них не спрячешься от ветра, не то что в лесу, в околке. Но километров через пять их станет больше, а потом пойдут реденькие околочки, а потом от Поповки гуще — там и ветер потише, и идти околками веселее, не так, как по ровному скучному полю,— конца нет.

Если бы Лилька была поопытнее, она бы включила вечером радио и послушала, что скажут из этой тарелки-репродуктора насчет погоды. А вечером о погоде сказали, что ожидается усиление ветра до значительного и буран.

Но Лилька этого не знала и все ждала, что ветер начнет уменьшаться.

Дорога повернула, и теперь ветер дул прямо в ухо, которое замерзло сквозь шаль. В голове стало позваливать.

Негнущимися руками стащила она бязевый головной платок, сложила его в несколько раз и сунула за шаль — закрыла ухо.

Ветер переметал с поля на дорогу все больше снега, и все чаще загрузали ноги, и, кажется, ветер продирал уже все ее тело.

Наконец она совсем выбилась из сил и села сбоку дороги на корточки, засунув руки в рукава жесткого пальтишка.

Она не знала, сколько времени прошло, как она вышла из города — города не было видно из-за снежных вихрей. Она подумала, что хозяйка тетя Настя уже продала свой борщ и вернулась с базара — и теперь ругает дочь за то, что та отпустила Лильку. Но повернуть назад она и сейчас не хотела. Вера, хозяйкина дочь, обязательно скажет: «А что я говорила? Не ходи... Поморозила нос!»

И Лилька, посидев немного и отогрев дыханием нос в коленях, опять поднялась и, спотыкаясь о заструги снега, пошла вперед.

Где-то сзади послышался гул машины, и в снежном мельтешении Лилька увидела приближающуюся полуторку.

Когда она отогрелась, они уже проехали Карпушино и приближались к Поповке, Лилька вспомнила, что ей совсем нечем заплатить шоферу, и стала уговаривать его заехать к ним. Она знала, что мать обязательно покормит шофера и угостит бражкой — кружку нальет. Но шофер добродушно улыбнулся и сказал: «В другой раз, детка,— надо торопиться, а то не пробьюсь с машиной, мне-то полями ехать. А ты лесами добежишь скоренько».

Этих скоренько — было еще десять километров, но Лилька была благодарна шоферу и попрощалась с ним с сожалением.

Околочные коридоры начинались со снежной горки, потом шли под уклон, потом ровно, потом опять ревел ветер — и Лилька, захлестнутая снежной лавиной, задыхаясь, торопилась пробиться к следующему коридору. Лес глухо шумел, успокаивал.

С их дома, стоявшего у леса, начиналась колхозная улица.

Девочка дошла до скирды с сеном, уткнулась в нее, вдохнула раз-два морозно-душистый запах, отдышалась и маленькими перебежками, вдоль забора, колодца, погреба, сарая, приблизилась к сенцам. На клямку давила всей кистью: пальцы не гнулись.

Все семейство сидело за столом, ели борщ, в алюминиевой тарелке был хлеб, а в другой — лепешки с запеченной толченой картошкой.

Лилька сказала «здравствуйте» и заплакала. Марья ахнула, отодвинула скамейку и кинулась к дочери. Налила воды в таз и начала оттирать ей руки, приговаривая: «Ведь у меня сердце-вещун, с обеда все смотрю на дорогу, так бы и кинулась, да сама себя уговариваю: «Ты чего, Мария, в самом деле с ума сходишь? Разве поедет кто в такую непогодь? Не с кем ей приехать...» Райка и Галька вылезли из-за стола и стали рядом. А Лилька ревела все пуще. Отец вздыхал: «Ах ты мать честная... Да как же это ты!.. откуда ты?.. А я завтра-послезавтра собирался с сеном на базар... Ах ты...» И когда мать натерла ей лицо и руки гусиным жиром, все наконец снова сели за стол, и мать снова достала из печки чугунок с борщом.

Потом девчонки забрались на печку, Лилька стала рассказывать, как по-французски называются всякие предметы и какие мифы были в древней Греции, а Райка и Галька, пристроившиеся сбоку, не сводили глаз с нее. И вся дорога и буран были забыты, только потом, когда уже стало смеркаться и Лилька сбегала на двор, она вспомнила, что ее не встретил Шарик.

— А Шарика нашего ночью волки съели,— печально сказала Галька.— Оставили только голову и лапки. Занесло уж, поди, снегом...

Лилька долго ахала: жалела Шарика.

И начала рассказывать, откуда пошли эти самые Шарики. Как давным-давно, когда еще люди никак не называли собак, выродился щенок: рос он пушистым и круглым, глазки у него были кругленькие и черненькие, и был он веселым, ну вот скажи, так и лез под ноги, а хозяин смотрел и сказал:

— Ну чисто шарик крутишься,— так понравился хозяину щенок, что с тех пор и пошли Шарики.

— А ты про это тоже читала?— спросила Галька.

— Не-а...— сказала было Лилька, но сразу сообрази-

ла, что Гальке это не понравится.— Мне рассказала библиотекарша,— соврала она. И рассердилась на себя за вранье.

— Это я так думаю,— сурово сказала она и тут же спросила Райку:

— А ты как думаешь?

— Может быть...— тягуче произнесла Райка.

— Знаете,— оживилась Лилька,— давайте друг друга заплетать. Галя меня, а я Раю, а потом мы Галю... Только по двадцать пять косичек. Как в песне: «Я люблю твоих сестричек — двадцать пять твоих косичек»,— пропела Лилька низким голосом.

— Ой, ты совсем петь не умеешь,— сказала Райка.— У тебя грубый голос.

Лилька смущенно сказала: «Не ври», но Галька тоже подтвердила: «Правда, правда, ты лучше не пой».

И Лилька совсем расстроилась. Но она умела быстро прогонять плохое настроение. Она утешилась тем, что расчесала пышные Райкины волосы, они покрыли ей всю спину, и передумала плести двадцать пять косичек— заплела одну косу и сделала из занавески фату: то есть собрала край занавески, перевязала ленточкой и надела на голову сестренки. Потом велела ей сесть в угол печки и засмеялась довольная.

— А у тебя некрасивые зубы,— сказала в ответ Райка.

— Они еще растут же,— сказала Лилька и пощупала совсем крошечные зубики, едва проклюнувшиеся рядом с резцами.

— Очень уж долго они растут, да что-то никак не вырастут,— сказала Райка.

— Какая ты злая,— сказала тихо Лилька.— Я сама про это знаю...

Галька хотела примирить сестренок.

— А у меня вон совсем нет,— показала она беззубый рот.

— У тебя еще вырастут, а у Лильки не вырастут,— сказала безжалостно Райка.

Лилька сдернула «фату» с головы сестренки и боднула ее головой — та ударилась о стенку. Заныла:

— Мама, чо Лилька дерется...

Мать уже спала, сонно что-то пробормотала из комнаты, снизу ответил отец, он смолил дратву:

— Райке надеру вихры...

Лилька показала язык сестре и улеглась на подушку.

— Ну, давайте спать...

В трубе надрывно выл ветер, сыпал сажу на вьюшку, хлестали по окошкам голые сучья сирени. Лилька представила всю дорогу, по которой вдруг сейчас кто-нибудь идет, и передернулась зябко. Натянула рядно на плечи, закрыла глаза и стала думать, как она завтра увидит подружек Лидку и Лельку и как она потом при ясной погоде поедет с отцом на базар — продавать сено.

Буран улегся к вечеру в понедельник.

Мать положила в мешок несколько кругов мороженого молока, несколько булок хлеба, насыпала мешочек ячменной крупы.

Лилька закуталась в тулуп и улеглась в сено. Отец пристроился впереди.

Некоторое время она слушала шаг коней, скрип возов, понукания, иногда до нее добирался махорочный дым отцовской самокрутки, а потом она заснула и проснулась недалеко от города, который светлел огнями и двигался навстречу.

Лилька подумала, что ей влетит от классной руководительницы за прогул, но тут же решила, что все подгонит за эти дни, и еще подумала, что красивый мальчишка, наверное, уехал от Суровых.

Деревенские подружки — Лидка и Лелька — сказали, что они начали ходить на вечерки, собирались уже у Синцовых, были мальчишки на выходной, играли на балалайке, пели, плясали, но ни Лидка, ни Лелька еще не танцевали.

— А куда вы пионерские значки дели?— спросила строго Лилька.

— А мы уже не пионеры,— ответила Лидка грустно.— В школу мы больше не пойдем, значит, уже и не пионеры.

Лилька смутилась: и правда, какие же пионеры, раз в школу не ходят. Сама она свой галстук снимала только к вечеру.

И сразу она перенеслась в свою школу — женскую, в класс — одни девчонки, вожатая — девочка из девятого, Аля, красивая. Председатель дружины — Валя Сурова, девочка из восьмого, засмотришься: тоненькая, нежная. Лилька влюблена в Валю Сурову. Когда показывали отрывок из «Молодой гвардии», Аля играла Улю Громову, косы у нее какие! А председатель дружины Валя Сурова — Олега. Что она сделала — Валя. Она подстриглась

под мальчика. Другие девчонки надели шапки, упрятали волосы — и все. А Валя подстриглась.

Сама Лилька звеньевая в отряде, ее часто выбирают на слеты — учится она «на отлично». Непонятно, почему только не может с девчонками ладить. Она им всякие книжки начинает пересказывать, а Ксенька, председатель отряда, в это время анекдоты рассказывает — соберет свой кружок, про мертвецов страсти-мордасти — все и перекочуют к ней.

Лилька злится на свое звено, что ребята такое слушают.

Аля — вожатая с длинными косами — говорит, что уж очень Лилька серьезная. Диковатая. Ну как же диковатая? Ее вон любят Лидка и Лелька, тетя Настя — хозяйка, Вера — хозяйкина дочь. Петя — ухажер Верин.

А вот сестренка Райка каждый раз просит, чтоб Лилька привезла какую-нибудь книжку прочитать, а как она привезет, если в библиотеке всего на десять дней дают?

Сидя на возу, теснее запахивая тулуп, Лилька даже дыхание притаила от появившейся вдруг мысли. Если продать, когда уедет отец, булку хлеба на базарчике, то можно в магазине купить несколько книжек. Мать потом не очень будет корить.

И она замурлыкала мелодию Иванова-Радкевича, которой начинало радио передачи для села. Потом спохватилась, вспомнив, что сказали про ее голос сестренки, и замолчала.

Через два дня, когда уехал отец, Лилька разрезала булку на несколько частей, рассовала ее по карманам и за пазуху и заспешила на базар.

Хлеб быстро раскупили, и она пошла по рядам. Купила любимых ирисок, петушков на палочках припрятала сестренкам и пошла в книжный.

В полутемном магазинчике толпилось десятка полтора мальчишек, что-то выбирали.

Лилька услышала голос Женьки Сурова:

— Не хватит.

И другой, незнакомый, басовитый:

— Жаль, могут раскупить.

Лилька повернулась — рядом с Суровым стоял незнакомый мальчишка, тот, что был в воскресенье в огороде.

— Но ты твердо решил? — спросил вполголоса Женька.

— Тверже не бывает,— сказал мальчишка.— Пусть поищет.

— Все-таки ты студент,— сказал Женька.— Стипендия есть. Или уже запустил занятия?

— Да нет, сдал бы и на этот раз.

Лилька исподлобья всматривалась в незнакомого мальчишку. Он и правда был красив: большие серые глаза, черные крутые брови, яркие, как накрашенные, губы.

Мальчишка заметил ее упорный взгляд, вопросительно посмотрел. Повернулся Женька.

— А, волчок-дичок, здорово.

— Сам ты волчище-дичище,— сказала Лилька и быстро пошла из магазина.

Почему ее обидело обычное Женькино прозвище, она и сама не знала.

Дома никого не было. Тетя Настя еще не пришла с базара, Вера, наверно, ушла со своим Петей в кино.

Лилька взяла зеркало и стала рассматривать себя. Не утешило ее зеркало. Одни ресницы длинные хороши — зато глаза сверху припухлые, губы обветренные, потрескавшиеся — от того бурана. Зубы белые — зато два недоростка: засмеяться нельзя. Неужели не вырастут? Брови темные — но реденькие. У того мальчишки шелковистые, погладить хочется. Лилька отложила зеркало.

Фигуры никакой. Талии не видать. У кого бы спросить про талию — будет хоть она или нет? Грудь только-только начала расти — торчат пупышки, стыдно. Хорошо, что женская школа.

Мимо водокачки шел Женька Суров. Интересно, куда делся его товарищ?

Лилька разложила книги, но еще долго не начинала готовиться к урокам.

...К Суровым приехала невысокая женщина в красивом, с каракулевым воротником, пальто. У нее были голубые глаза и мелкие веснушки на носу. Это разглядела Лилька на улице, когда женщина шла рядом с Женькиной матерью. Шли обе быстро — к вокзалу. Женщина плакала.

Лилька пошла к Суровым.

Валя с короткой стрижкой ходила по комнате, обхватив себя руками за плечи.

— Кто это у вас был?— поздоровавшись, спросила Лилька.

— Это, видишь ли, мамина подруга,— пояснила Валя озабоченно.

— А что у нее случилось?— глядя на Валю исподлобья, спросила Лилька.

— Смотри прямо, подними голову — вот так. У нее пропал сын.

— Как пропал?

— Он учился в техникуме, сказал, что техникум переводят в другой город, а сам обманул. Сбежал куда-то.

— У-у...— протянула Лилька, понимая все положение плакавшей женщины.

— Понимаешь, в воскресенье он был у нас, но ничего не сказал, совершенно...— Валя уставилась на Лильку.— Знаешь,— сказала она без всякого перехода,— если хочешь вырасти красивой, не «бодайся»...

— А разве я могу быть красивой?— подняла голову Лилька.

Валя оценивающе поглядела на девочку:

— Можешь...

— Почему?— оживилась Лилька.

— У тебя оригинальное лицо,— сказала Валя.

Лилька подумала: «Учительница про меня сказала, что у меня память оригинальная, Валя теперь про лицо. Что это за слово?»

— Почему?

— Ну, не похоже на все лица...

— Почему?

— Потому что не похоже...— рассмеялась Валя и открыла все свои зубки, ровные, плотные.

Лилька опять опустила голову: «Хорошо ей...»

— Хорошо тебе,— сказала она со вздохом.

— Почему мне?— удивилась Валя.

— Ты — красивая — вся,— убежденно сказала Лилька.—А как ты думаешь, Валя, талия у меня будет или нет?

— Непременно,— серьезно сказала Валя.— У тебя и сейчас очень ладная фигурка. Только держись прямо.

Лилька повеселела. Но внезапно спросила:

— А ее сын — ваш знакомый? Женин товарищ...

— Да. Ты его видела?

— Видела. Позавчера.

Лилька рассказала, повторив слово в слово разговор мальчишек.

Валя стукнула кулачком по столу:

— Значит, Женька знает. А говорит, что не видел его. Ах, противный...

— У вашего товарища родная мать?— спросила вежливо Лилька.

— Да, конечно.

— За что же он на нее рассердился?

— Видишь ли, она вышла замуж, а он считает, что она изменила памяти отца...

— Противный он, ваш товарищ,— поставила точку Лилька и спросила: — Куда же он все-таки мог удрать?

— Думают, что к деду в Москву.

— Счастливый,— с завистью вздохнула Лилька.— Знаешь, Валя, мне так хотелось бы хоть когда-нибудь побывать в Москве.

— Вырастешь — побываешь,— убежденно сказала Валя.

— Ты думаешь?— у Лильки засияли глаза.— А почему ты так думаешь?

— Потому что ты выучишься, будешь работать, будут деньги — вот и съездишь. А может, и жить станешь...

— Ну уж...

— Нет, ты будешь очень красивой, дичок,— обняла ее Валя.— У тебя сейчас было необыкновенно красивое лицо... И тебе так идут твои родинки — будто вуалетка наброшена...

Лилька покраснела.

Вернулись женщины. Оказывается, они не на вокзал ходили, а в милицию. Лилька повторила свой рассказ, и невысокая голубоглазая женщина начала снова плакать.

Лилька вежливо подождала, пока она перестанет, сказала «до свиданья» и ушла.

Прошел год. Лилька ходила теперь в шестой класс, но училась не в городе, а на той станции, в двенадцати километрах от колхоза, где жил красивый мальчишка. Об этом она узнала от Вали Суровой. На станции учились многие из петровских. Отец даже обрадовался: веселей ходить.

Изредка Лилька видела и мать мальчишки, и отчима — главного бухгалтера, но самого Костю ни разу не встретила.

Все реже рисовала она его профиль, все реже вела с ним диалоги, придумывая за него ответы. Однажды — это было уже к весне ближе, Лилька решила уйти в воскресенье после обеда на станцию, чтобы поспеть на вечерний сеанс в кино.

Мать заохала: попутчиков не находилось.

— Мам, ну зачем они мне?— с досадой говорила Лилька, пристраивая на плечи вещмешок с продуктами.— Не надо мне никого. Они мне мешают.

— Чем же они мешают?— мать поправила лямки вещмешка.

— Думать мешают, глядеть мешают...

— Да чего глядеть — сто раз по одной дороге ходишь,— не понимала мать.

— А чего мне искать попутчиков, если я уже сто раз хожу,— парировала Лилька, обняла мать, помахала сестренкам рукой и пошагала, погружаясь в свои мысли.

Ветер налетал взмахами — было что-то успокоительное в этом. Льдисто поблескивали снега в лесах — чувствуется вёснушка.

Вот Лилька вошла в березовый лес. Она его любила зимой за особую светлость. На фоне розового неба белые стволы и темные ветки. Нарисуем?

Но в альбоме получается только бледный эскиз. Она с грустью захлопнула альбом. Может, летом восстановит по памяти. Весной пособирает щавель, продаст себе на туфли, может, и на краски выгадает.

По дороге шорох лыж. Лилька оглянулась. Прямо на нее, с ружьем за спиной, с убитым зайцем у пояса, катил Костя. Не катил, а шагал. От лица его и мокрых черных волос шел парок. Он незнакомо посмотрел на Лильку. Она чуть посторонилась. Как он повзрослел, совсем парень. Она смотрит на него, ей становится жарко. Парень прошел мимо, она ступила на его лыжню и пошла за ним, машинально убыстряя шаг.

Потом начала тихо плакать. Слезы крупно катились по ее щекам, в них радужно сияло солнце, а парень уходил все дальше. Он занят своими охотничьими, а может, и не охотничьими мыслями, у него своя дорога, с которой уже пересеклась не одна девчоночья. А мало ли их тут ходит, всяких школьниц из соседних поселков? Но, может, что-то смутное, как видение, встало в его памяти: будто видел он уже однажды этот взгляд исподлобья, что-то диковатое в глазах...

Парень останавливается, ждет девчушку, говорит:

— Снимай мешок, помогу...

Лилька молча стаскивает мешок и помогает ему пристроить за спиной.

— Понимаешь,— говорит Костя,— показалось, что

я тебя где-то уже видел... Не люблю, чтоб мысли мешали, решил тебя подождать и спросить.

— Вы могли меня видеть у Суровых,— вежливо сказала Лилька.— Я дружила с Валей.

— А-а...— пропел он загадочно.— Так-так... Кажется, ты — это та самая девочка, которая помогла моей матери...

— Я та самая девочка, которая помогла вашей матери,—дерзко сказала она.— Может, вы собираетесь меня излупить?

— Ну что ты,—удивленно сказал он,— разве я похож на такого?— он рассмеялся. Лилька тоже. Так они шли и хохотали, а потом весело болтали про Женьку, про Валю, он рассказывал о Москве, о своем авиационном техникуме.

Он проводил ее до самых ворот, снял со спины мешок и, передавая, сказал шутливо:

— Я бы пригласил тебя в кино, но меня ждет одна девушка...

Лилька молча посмотрела на него своими удлиненными глазами, взяла вещмешок за лямки — и скорбно потащила его по снегу: силы покинули ее.

Все хуже становилось отцу, он ушел с работы, а последние две недели с трудом поднимался с постели. Все тело было набрякшим, словно налитое водой, и мать плакала на дворе, тихонько причитая, что помрет батька.

Вчера отец позвал Лильку. Она села рядом. Рука его с надутыми пальцами чуть пошевелилась ей навстречу.

— Дочка... плохо мне... уже думать плохо думаю... ты старшая... помогай воспитывать девчонок... летом работай...и учись... все учитесь...— и заплакал.

Лилька с опущенной головой посидела у постели, взяла полотенце, вытерла отцу слезы и убежала с этим полотенцем в кухню, уткнулась в угол.

Сегодня она прощалась с отцом, тревожно вглядывалась в его раздутое, полыхающее жаром лицо. Он с трудом повел глазами, сказал:

— Дни прибавились...

Она поняла, что он хотел сказать. Что теперь ей не страшно ходить по вечерам и что, может, она пораньше сможет выбираться домой.

Почему-то она была уверена, что на неделе за ней приедут: отец умрет...

Может, отпроситься у классной и вернуться домой? А что она скажет дома? Вернулась дожидаться отцовской смерти? Эгоизм свой показывать? Это слово она услышала недавно, поняла его смысл и теперь иногда примеривала к себе.

Чтобы отвлечься от мыслей и не заплакать, она стала разговаривать с подругой. Миля-Милуша Бах — ее новая подруга в этой школе. На два года старше. Девушка уже.

От Милуши мысли перешли к Косте.

Тогда, месяц назад, она все-таки пошла в кино. Сидела со своими мальчишками, поводила глазами, высматривая Костю. Увидела, когда он садился.

Рядом с ним была Нина. Вот он с кем встречается... Тоненькая, беленькая, словно фарфоровая... О ней много сплетен по совхозу. Замужем была, с кем только не гуляла. Теперь и Костю... Да ведь ей уже двадцать!

Лилька уцепилась за край скамьи. В висках глухо стучало.

— Ты что, не слышишь?— нагнулся к ней Володя. Он тоже из их школы. Лилька странно посмотрела на него. Она действительно не слышала, как он обратился к ней. Словно все люди удалились от нее, перестали говорить. И волна за волной ее окатывал жар — от головы до ног.

Володя недоуменно молчал.

Вернул ее к жизни экран и Блинов. Это был любимый Лилькин актер. Почему он давно не снимается? И этот фильм сорок третьего года. Давно не видела Лилька Блинова. Странные у него глаза. Огромные. Не смеются. Словно насильно улыбается. Может, горе какое у него? А какое горе у актеров может быть? Они без горя должны жить — они счастливые, в кино снимаются.

После сеанса она нарочно посмотрела, куда пойдет Костя. Пошел эту фарфоровую с локонами провожать.

Милуша без обиняков сказала:

— Вполне возможно, что он к ней ходит спать.

И убила Лильку совсем. Такого горя она еще не знала. Она смотрела на подругу угасшими глазами, в которых был только один вопрос: «Неужели правда?»

— Нашла предмет для воздыханий,— сказала Милуша.— Выброси из головы этого трепача!

Видимо, человек не может без конца предаваться горю. Стала оживать и Лилька. Медленно, нехотя. Да и

Милуша тормошила: давай газету оформляй, в лыжном кроссе участвуй, к женскому дню плакат нарисуй... Где Милуша — там скука прощай.

Сегодня Лилька с радостью сказала себе, что все кончено, что при мысли о Косте ее нисколько ничего не берет, и запела вполголоса: «Ты, крылатая песня, лети ветром буйным в родные края...»

Вот и школа.

На перемене она сказала Милуше:

— Отгадай загадку: сначала и светит и греет, а потом мешает...

— Солнце летом,— включилась в игру та.

— Не-а...

— Электрическая лампочка днем...

— Нет,— вздохнула Лилька.— Думала, отгадаешь.

— Выйдем,— говорит Милуша вполголоса, и они идут в кладовку. Милуша разворачивает записку. Лилька читает.

— Дурак,— и рвет ее на части.— Так и передай,— дурак,— говорит Лилька.

— Нет, нельзя,— серьезно говорит Милуша.— Ты напиши ответ.

— Ничего я писать не буду,— надулась Лилька.

— Вот это другой разговор,— смеется Милуша.— А то — дурак. А вот теперь вторая...— и она отдает новую записку.

— От него же?— Лилька медлит с чтением.

— Да.

— Верни нечитаной.

Милуша довольна.

— Ну, пошли, а то мне надо кое-кого из комитета повидать.

Лилька садится на подоконник и смотрит, как идут мальчишки из седьмого — курить за школу.

Володя среди них, хотя и не курит. Он ходит каждую перемену и каждый раз смотрит в окно, где сидит Лилька с кем-нибудь.

Ничего они не говорят, просто улыбается Володя, просто улыбается Лилька. Четыре раза в день улыбаются. Целых три месяца. После новогодних каникул. Интересно, если бы он узнал, что Шурка прислал Лильке любовные записки, бросил бы он дружить с ним? А вон и Шурка... Круглые глаза, как у совы. Ресницы будто обстригли. Фу, противный...

Лилька спрыгнула с окна, пересела на парту.

Володя живет у дядьки. Отец погиб на фронте, а мать неизвестно где. Уехала с каким-то, что ли...

В прошлую пятницу Володю принимали в комсомол — на комитете. (Милуша рассказывала). И вел себя он не ахти — дерзил. Его предупредили. А что дерзить-то? Взял бы да и рассказал прямо, где мать, а то:

— На этот вопрос я отвечать не буду.

— А если тебя в райкоме спросят?

— И в райкоме отвечать не буду. Можете не принимать,— сказал он.

Что тут началось! А он отвернулся, глаза наставил куда-то — не мигнет.

— А если б моргнул — наверно б, заплакал,— сказала Милуша со вздохом.— Вот характер.

Большинство все-таки за прием проголосовало. Любили его.

А вообще зачем про мать спрашивать, если все знают?

Лилька рассеянно доставала книжки, готовясь к следующему уроку. Она машинально перечертила с доски какой-то чертеж, поморгала («похлопала») глазами и подняла руку:

— А я не поняла этой теоремы:

Грохнул такой хохот, что через стенку застучали: тише.

Девчонки лежали головами на партах и тряслись от смеха. Математичка утирала глаза — смеялась.

Милуша Бах хохотала громче всех. Лилька растерянно переводила взгляд с ребят на учительницу, на доску, в тетрадь.

— Ты где была? — дергала ее за рукав Милуша. И заливалась еще громче.

— Бах, Бах, хватит...— уговаривала математичка Милушу.

Наконец все успокоились.

На доске был чертеж шаровар, которые должны были сшить себе девочки для физкультуры.

Теперь уже Лилька хохотала: «не поняла такой теоремы».

А утром за ней приехали. Она не плакала, только сжалась вся, спрятала руки в рукава пальтишка. И все сглатывала вырывавшийся крик.

На середине дороги она соскочила с подводы, побежала по раскисшему снегу в глубь леса и там, обняв березу, ревела с криком, натужно, с причитаниями.

Сосед Егор Степанович сидел на телеге, курил и затя-

гивался, выпуская сигаретный дым. Лошадь терпеливо стояла, помахивая хвостом, дремала на весеннем солнце. Где-то за лесами кричали петухи на птичнике. Курился парок над дорогой.

Лилька тихо вышла сзади телеги, тихо взобралась на нее, и Егор Степанович со вздохом тронул лошадь. Лошадь затрусила по хлюпавшей дороге, обдавая брызгами сидящих. Егор Степанович обернулся, посоветовал Лильке сесть на середину, подвинул ей охапку соломы, и телега опять затарахтела, выписывая кривым колесом вензеля, точно пьяная.

ПЕРЕМЕНЫ

По метрике она была Эмилия, с детства все звали ее Милей, Милушей.

Рослая крепкая девочка, рыженькая, с карими глазами в золотистых ресницах. Рыжие кудри она заплетала в две косички, торчащие запятыми вверх.

Три старшие дочери Бахов давно вышли замуж, имели своих детей, а среди троих меньших Милуша была старшей. Она была серьезно-беззаботным созданием, вечно что-то мурлыкала себе под нос, училась играть на гитаре и лазила по деревьям.

Старый Бах любил ее больше всех. Письма из трудармии он писал жене и ей. Жене — по-немецки, дочери — по-русски. Милуша обстоятельно отвечала и за мать, и за себя.

Портрет старого Баха висел в комнате над столом. Длиннолицый, с выпуклыми глазами, с большим носом, он смотрел строго, как будто сердился на кого-то. Но в жизни это был добрейший и тишайший человек, передоверивший все воспитание в семье жене Эмме.

Милуша много возилась по дому и в пятый класс не ходила два года, пока меньшая сестренка не подросла.

Милушин поселок был ближе к станции, чем Петровка — до половины дороги по субботам шли вместе.

— Знаешь,— сказала однажды Лилька, понизив голос,— я тебе никогда об этом не говорила...— Она засмущалась, покраснела, замедлила шаг.— Я хочу быть знаменитой...

Милуша задумалась.

Прошли некоторое время молча. Наконец подруга заговорила.

— Знаменитых учителей не бывает... Бывают известные... заслуженные...

— А я не учителем, я хочу быть артисткой,— отрешенно сказала Лилька.

— А я бы хотела быть партизанкой,—вздохнула Милуша.

Лилька улыбнулась.

— Кто ж бы ни хотел быть ими? Но войны нет, и не будет... значит, мы с тобой должны в такой жизни прославиться! А тебе нравится, как я стихи со сцены читаю?

— Очень нравится,— Милуша оживилась.

Так они шли и говорили — две девчонки. Одной шел четырнадцатый, второй шестнадцатый. «Жизни даль» перед ними была незамутненной, ясной, как проветренное небо.

Про великих людей знали все. О них оставили воспоминания близкие или родные. Или они вели дневники. Или писали письма. Писем Лильке пока некуда было писать. А вот дневник можно было начать.

Все великие люди чем-то отличались еще в детстве. Лилька до сих пор ничем не отличилась. Хотя, если покопаться в памяти... И она стала писать. Надо было поразить будущих читателей своим благородством, широкой натурой, предвидениями, мыслями... Но первые страницы, написанные вдохновенно и прочитанные через неделю, заставили ее призадуматься. Получалось что-то не то... будто украла чужое платье. Может, один дневник вести для потомков, а другой для себя? А вдруг она умрет внезапно и найдут оба? Что-то скажут люди? И тогда она вырвала первые страницы и начала писать так, как думалось. Хотя сбоку, чуточку, она не забывала, что ее дневник может читать кто-то второй.

Прошел месяц. Лилька перечитала свои записи. Оказалось, что этот «второй» прочно стоит рядом и Лилька ему слегка привирает. Она вздохнула и снова вырвала все. Общая тетрадь похудела. И тогда, чтоб не пропала бумага, Лилька стала изображать в ней уроки. Рассказывает историк про походы крестоносцев, Лилька страничку изрисует. Хорошо, «Александра Невского» смотрела — псы-рыцари, как живые, вспоминаются. Рассказывает географичка — на страничке океан, нефтяные вышки, заводские трубы — посмотришь — весь урок вспомнишь.

И вот, хоть дневник был заброшен, все-таки не выдержала, рассказала Милуше, что хочет быть знаменитой.

После смерти отца Лилька ходила словно в пустоте. Было странно смотреть, как люди могут заниматься своим делом: топить печи, ездить на телегах, убирать в сараях. Они же умрут. И Галька умрет.

— Тебе страшно умирать?— спросила она сестренку. Лежали на печке.

— Я не умею умирать,— недоуменно ответила та.

— Разве так говорят?— упрекнула Лилька.— Смерть не спрашивает...

— Я не хочу умирать,— заплакала Галька. Лилька тоже стала всхлипывать.

— Вы чего там?— Райка оторвалась от книжки, сидела на приступке.

Сестренки не отвечали, а Галька ревела сильней.

Райка спрыгнула с приступки, позвала со двора мать. Та быстро вошла на кухню.

— Дочки, вы чего там?

— Мы не хочем умирать,— сказала Галька всхлипывая.

— А кто вас заставляет?— удивилась мать.

— Никто,— сказала Галька.

— А чего ревете?

— Не хочем помирать...

— Господи,— сказала мать,— живите, пока живется. Может, вы по восемьдесят семь годов проживете!

— Мы и в восемьдесят семь не хочем,— сказала Галька. Конопатенький нос ее выставился с печки и зашмыгал еще громче.

— Лиля,— упрекнула Марья старшую,— ну чего вы там, право? Сейчас я вот вымою руки...

— Возьму ремень...— съехидничала Райка.

— Отстрянь,— сказала Марья.— Вымою руки, соберу поужинать, мы заберемся к вам и поговорим. Давайте, слазьте. Творожок с молоком... А тебе, Лиля, надо в школу. Четвертый день пропустила.

Лилька не отвечала. Марья силой стащила ее с печки, поцеловала, стала тормошить.

— Тебе трудно будет, Лиля, в жизни,— говорила Марья.— Принимаешь все близко к сердцу. Ты характером в отца пошла. Так тот поунывает да идет в свою мастерскую,— в деле, глядишь, и забылся...— Марья, что-то вспомнив, скупо улыбнулась бледными губами.

— А я в кого характером?— спросила Галька.

— Ты мамина...— погладила Марья ее золотистые волосенки.

— А я?— поиграла глазами Райка.

— Ты в бабу Оксану,— вздохнула мать.— Ты непокорливая была...

— У меня кровь украинки!— закричала Райка.

— Правда, мама, расскажи нам про бабушек-дедушек,— сказала Лилька.

Залезли на печь, прикрутили лампу. Под рассказ матери успокоились девчонки. Уже в который раз слушали, как баба Оксана и дед Димитрий работали на панов, как задумали ехать в Сибирь, а попали сначала в Казахстан, потом повернули на Омск, как шла первая германская война, а потом революция, гражданская, и через это все прошел дед Димитрий. И дед Иван тоже. А бабушка Оксана все была одна, растила четырех сынов и семь дочек. У бабы же Матрены было три дочки и два сына. Вон у вас теперь сколько двоюродных братьев и сестер!

— А давайте посчитаем,— сказала Галька.

Посчитали. Вышло, что если б не убило на войне Прокопия, Степана, Михаила, Костю и Шуру да не умер бы от ран Ваня, то было бы всех сорок три.

— Вот это родни!— сказала восхищенно Райка.

— И все умрут,— сказала мрачно Лилька.

Марья внимательно посмотрела на дочь. Сегодня днем она встретила Егора Степановича и с тревогой рассказала о старшей: плохо ест, плохо спит, плачет. Все об отце убивается. Егор Степанович пообещал вечером прийти — поговорить.

— Конечно,—ответила она дочери,— умрут, но останутся их дети, ваши племянники... у вас тоже пойдут дети...

— А может человек не умирать?— спросила Галька.

— Все умирают. Даже камни дробятся в пыль,— сказала со вздохом Марья.— А если б не умирали — Земля бы уж давно не выдержала! Ну-ка за миллион лет сколько всего наплодилось бы!

— Выходит, Земля главнее всех?— округлила глаза Райка.

— Земля главней всего,— сказала Марья тихо.— Она, матушка, ничего даром не дает. Она дает, любуйтесь, говорит, красуйтесь, а потом опять ко мне. Нам от нее не оторваться...

— А вот и оторваться!— сказала зло Лилька.— Межпланетные корабли будут!

— Может, и будут,— охотно согласилась Марья,— а умирать человек будет на Земле.

— «Умирать» — ненавижу это слово!— сказала Лилька.

— И правильно,— опять охотно согласилась Марья.— Ты не думай о нем. Живи и радуйся!

— Не хочу,— уныло сказала Лилька.

— Завтра же собирайся в школу,— повысила голос Марья.— Лежанье на печке, смотрю, до добра не доведет.

Во дворе добродушно взлаял Волчок.

— Кто-то идет,— сказала Марья.

Раздался стук в окно. Подал голос Егор Степанович. Райка выскочила отворить. Он вошел, смахнул дождинки с рукавов телогрейки.

— С первым весенним дождичком вас!

— Вас тоже,— ответили с печки.

— Чего вы попрятались?

— За жизнь рассуждаем,— оживилась Марья.— Присоединяйся к нам, дядя Егор. Убеди свою любимую Лилюшку, чтобы не распускалась.

Егор Степанович снял шапку, достал из бокового кармашка расческу, причесал свои черные волосы, закурил, выбив кресалом огонь, и повернул голову к печке.

— Хотите, девчонки, расскажу вам случай про войну?

— Хотим,— сказала Лилька.

— Как за мной самолет немецкий гонялся... расстрелять хотел...

Три головы свесились с печки. Марья придвинулась ближе к краю. Егор Степанович начал неспешно, потом вошел в азарт, тень его повторяла все движения, и, когда он показывал, как самолет пикировал на него, казалось, за спиной его вырастала тень того самого самолета, что гонялся по степи за одним бойцом. И все-таки боец оказался сметливее, притворился мертвым. Лежал в желтой сурепке и не шевелился, пока тот не улетел.

— Вот тогда я понял, что смерть можно иногда и перехитрить. А когда она с тобой чуть не каждый день ходила, хотелось пуще жить... Разве ваш отец для того выжил, чтобы умереть после? Нет, он выжил для жизни... и для вашей жизни тоже, Лиля, Рая, Галя... Отцу помешала болезнь, но разве он хотел, чтоб его дочки только сиднем сидели на печке и в школу не ходили?.. Фу, девчонки, запарился я с вами в поучениях,— сказал он и вытер ладонью покрасневший лоб.— Давай-ка, Галинка, покатаю тебя на горбушке...

Галька скатилась с печки и повисла на шее Егора Степановича. Райка с усмешкой следила за сестренкой, готовая тоже оседлать чужую спину. Лилька отрешенно смотрела вниз, потом отвернулась к стене, закрыла глаза.

Утром, по морозцу, она пошла на станцию. Звонкий ледок, коловшийся под ее валенками с калошами, мало-помалу отвлек от тягучих мыслей, свежий воздух взбодрил, а ходьба разогрела. Она пришла на второй урок, стояла под дверью, не решаясь войти. Кто-то мямлил по географии. Она заглянула в щелку. Милуша сидела на последней парте и тряслась от смеха. Впереди с невинным видом Борька Сазонов копировал отвечавшего Мишку Санькова. Его не слышала глуховатая географичка, потому что она пыталась услышать, что есть толкового в ответе Мишки — четверть к концу подходила, а у него выходила двойка. Мишка чувствовал, что смешок по классу растет, и еще больше терялся, переминаясь с ноги на ногу.

Лилька смело переступила порог класса, поздоровалась, все оживились. Мишка воспользовался заминкой, получил шпаргалку, повернулся к карте и прочитал написанное. Потом он уже мог более или менее сносно выпутываться из критического положения.

На перемене Милуша крепко обняла подругу, мальчишки пожимали молча руку, о чем-то спрашивали. Школьный мир сразу захватил Лильку и не выпускал до обеда.

Мать пришла поздно почему-то, не стала ужинать, посадила своих девчонок (разговор начинался на кухне), посмотрела каждой в глаза, покраснела, села на краешек табуретки.

— Дочки мои милые...— кашлянула.— Как вы скажете, так и будет. Только и то примите во внимание: трудно мне одной поднимать вас... без отца. А отец хотел, чтобы вы все выучились.

Райка свысока повела глазами: знаю, о чем скажешь, Галька простодушно смотрела на мать. Лиля понимала мать и волновалась.

— Ну вот... Егор Степанович... Куликов... хочет вам отцом стать...

Райка отвернулась. Галька, не мигая, смотрела на мать и Лилю, а потом сказала:

— А мы тоже его папой звать будем?

— Как захотите...— тихо ответила мать.
— Я не буду,— не оборачиваясь, ответила Райка.
— Я буду звать его дядя Егор,— поколебалась Лилька
— А он драться не будет?— спросила Галька.
— Нет,— мать радостно замахала руками.— Нет. Мухи не обидит, не знаете вы, что ли?
Райка резко поднялась и выбежала. Мать вздохнула, вопросительно поглядела на Лильку. Та вышла.
Райка плакала в кладовке.
— Она не ради нас,— злобно говорила сестренка.— Ей спать надо... с мужиком!
— Дура!— Лиля тряхнула сестренку за плечо.— Дура! Как ты смеешь. Да она и не обязана была перед нами... так вот...
— Любви захотелось! В их-то годы!— Райка презрительно усмехнулась.
— А что ты знаешь о их годах? Маме-то нашей всего тридцать один! А дяде Егору тридцать семь.
— Мало?— Райка зверовато уставилась на сестру.— Пусть приводит! Пусть! Я напишу тете и уеду к ней! Не хочу видеть я вместо папы никого!
— Но ведь папу не вернешь, Рая,— грустно и спокойно сказала Лиля.— И давай не будем судить взрослую жизнь, пока сами не вырастем, а? Ведь еще неизвестно, какая ты будешь!— засмеялась она.
Райка запальчиво хотела что-то сказать, но Лиля погладила ее косы, начала городить из них корону, и та отошла, остыла.
— Господи, двенадцать лет, и такая упрямая,— донесся голос Марьи.— Зародится телок с лысинкой...
— Видишь, что она говорит,— со слезами сказала Райка.— Полгода не прошло, а она уж побежала! Вся деревня говорит! Ненавижу.
— Дура!— Лиля просушивала полотенцем волосы.— Ох и дура... Чего ты слушаешь всяких? У мамы всегда завистники были... То говорили, что медаль ей дали ни за что, то говорили, что на выставку зря посылали, то подсунули ей в сумку бутылку молока, будто украла...
— Чего ты мне про это толкуешь?— вскипела Райка. Тяжелая коса сползла ей на шею, она отбросила ее, как надоевшую.— Я говорю, что она не любила папу! Если б любила, не пошла бы за дядю Егора!
— Не твое это сопливое дело,— подала голос Галька, появляясь на пороге кладовки, и потерла нога об ногу.

— Правильно, маленькая,— сказала Лиля.— Не люблю я некоторых наших деревенских, а ты, Райка, вся деревенская, зла в тебе на пятерых...

Райка фыркнула и ушла в боковушку, весь вечер не отзывалась.

На работе, приняв молоко, Лена Перекатова, со щучьим лицом учетчица, язвительно сказала Марье:

— С лица спала...

— Какое твое дело?— вскинулась Марья.

— Есть же счастливые,— продолжала Лена,— не успела одного отхоронить, другого подцепила.

— Твоего отбила?

— Отбила! Ведь со мной спал-то Егор...

Лена была тридцатилетней вдовой и очень рассчитывала на кузнеца. Связь их была недолгой. А когда он отказал ей, ходила от горя совсем худая и еще больше похожая на щучку.

— Он со многими спал,— насмешливо поглядела Марья в пестрое от веснушек лицо Лены.— Его дело такое. Ну пожалел он тебя, бедолажку, так что ж теперь? А любить-то не любил... Да и что в тебе любить-то? Бабьей стати — ничуть, задница — два кулачка...— и Марья, звякнув доенкой, повернулась прочь.

Лена с тяжким дыханием перегородила дорогу.

— Я тебя ославлю так, милая подружка, до конца своих дней будешь вспоминать.

— Славь,— сказала Марья.— Муж он мне.

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Выходя из совхоза по субботам, Лилька обычно проходила мимо свинофермы. Далеко разносился едучий воздух, визги поросят, хрюканье свиней, окрики пастухов. Свинарки — русские — подгоняли убегавших крепкими словечками, калмычки не ругались. Несколько раз попадалась навстречу женщина в телогрейке и в резиновых сапогах, с хворостинкой в руке. Но ни разу не слышала Лиля от нее хлестких окриков. Иногда она видела ее где-нибудь в стороне от стада — женщина устало курила. Очень не к лицу было женщине ходить в грязной телогрейке и сапогах. Почему-то представлялась больше в плащике, в шляпе, с зонтиком, с сумочкой через плечо. Как счетовод Анечка.

Весной, в мае, когда уже заканчивались занятия в

седьмом и Лилька с Милушей колебались, куда им идти— в театральное или в педучилище, Лиля вышла за ферму и разулась. Кое-где на полянах около лесов стояли теплые лужи, так хотелось задумчиво побродить по весенней воде. В ее руке был только портфель — она теперь каждый день ходила пешком. Два часа — и дома.

Ветер озорновато играл по макушкам деревьев, будто вычесывал их. Наверно, поэтому были кое-где пролысины в околках.

В ложбинке Лиля нашла замечательную лужу. Ветер рябил и гнал волны, вода солнечно катилась к ногам. Лиля запела.

«Смолкни, о Мойл, моей песне внимая...»— низкий грудной голос ее катился вместе с ветром вдаль, Лиля не знала слова «Мойл», не знала, кто такой король Лир и почему по нему плачет его молодая дочь, но оттого, что слова были неизвестны — это было загадочно, а Мойл — может быть, подходило к воде.

Лиля спела только один куплет, больше не знала, и начала выводить свои «а-а», замирая от весеннего воздуха, голубого неба, голубой воды, от той кутерьмы, которой и словами-то не объяснишь.

Повернувшись, она встретилась взглядом с улыбающейся женщиной, той самой, которой так «не личило» ходить в телогрейке и резиновых сапогах. Она сидела на толстом пеньке и устало курила. На плечи сполз платок. Голова была наполовину седой. Как будто кто по черному провел белым. Красота осталась в больших глазах с черными ресницами, в тонких черных бровях, в пушистых завитках, взбившихся у висков. Женщина улыбалась Лиле. Лиля тоже улыбнулась в ответ, подумав, что у этой женщины было большое горе, которое изнурило ее. Глаза ее смотрели странно: будто издалека. Ожили на минуту и вот-вот погаснут.

Женщина, не бросая папиросы, стала хвалить Лилин голос. Та исподлобья, пристально взглянула на сидевшую.

— У меня голоса нет...

— Кто вам сказал?— насторожилась женщина.

— Люди...

— Ни черта они не понимают, ваши люди,— резко сказала женщина.— У вас редкой красоты голос. И вам надо непременно идти в музыкальное. А может, и в консерваторию ехать.

Лиля растерянно слушала женщину.

— Знаете,— сказала она,— я старалась петь так,

чтоб меня никто не слышал. Сестренки сказали, что у меня грубый голос. И вот уже три года я пою где-нибудь только по дорогам и в лесах.

— Ну вот,— засмеялась та,— нашли ценителей.

Зубы у нее были ровные, но прокуренные. Смех сипловатый.

Так они познакомились — Дарья Александровна, бывшая учительница, и Лиля Никитина.

Дарья Александровна жила в маленькой барачной комнатке, выбеленной и полупустой. Лиля все чаще забегала в барак. Милуша сердилась, та отмахивалась.

С Дарьей Александровной было интересно. Она была злой и остроумной. Злой в рассказах. Когда же речь заходила о теперешней жизни, она сразу тускнела, взгляд куда-то уходил в сторону, она поспешно брала старенькую гитару, начинала петь какие-то горькие романсы и странно улыбаться. Хорошо жилось ей в прошлом. Там был муж, инженер завода, мать, дочь и сын. Были Москва и Киев.

— Дарья Александровна,— спросила Лиля недели через две после их знакомства,— а почему вы не в школе?

Та вяло ответила:

— Как бы тебе объяснить, Лиля... Обстоятельства всякие...

— Дарья Александровна,— сказала Лиля уныло,— я не могу дружить с человеком, который мне не доверяет,— медленно пошла к выходу. Остановилась, не оборачиваясь, попрощалась.

В ответ ничего не услышала, закрыла дверь, постояла, резко дернула плечом и быстро пошла прочь.

Степенно шел завуч с булкой хлеба под мышкой.

— Владимир Федорович,— резко спросила Лиля,— что за человек Емельянова Дарья Александровна?

Тот озабоченно посмотрел в злое лицо своей ученицы.

— Хороший человек.

— А почему она не в школе?

— Как бы тебе объяснить, Лиля... Обстоятельства всякие...

— Вы что? Сговорились с ней?— удивилась Лиля.

— А ты с ней знакома?

— Недавно.

— Ты слишком быстро захотела откровенности,— осуждающе сказал завуч.

— Что же тут особенного?— нервничала Лиля.

— Особенного тут много,— вздохнул Владимир Федорович.— Тебе очень хочется дружить с ней?

— Да.

— Вот и дружи. Когда-нибудь она тебе расскажет.

Лиля свела брови к переносью, наморщила лоб.

— До свидания, Владимир Федорович.

С Дарьей Александровной встретились в начале июня, когда зацвели в совхозном саду яблони, а под окнами сирень, и совхоз устроил сабантуй по случаю окончания посевной. Молодые играли на полянах в мяч и в чехарду, качались на качелях и гигантских шагах, в роще играли гармошка и баян. Пели песни. В школе оставался один экзамен, по истории. И — выпускной вечер! Девчонки озабоченно бегали в магазин — выбрать ситец или майю. Надо было и в мастерскую, чтобы без очереди. Забот хватало. А в этот день сабантуя, когда все цвело, хотелось тоже бегать, танцевать и петь.

Дарья Александровна в желтом с ромашками платье, с распустившимися из-под жгута пушистыми завитками, шла с женой завуча, увидела Лилю, подала ей руку.

— Поздравляю! Молодец! Так и держи — на пятерки. И заходи, не обижайся.

Лиля радостно улыбнулась, показав свои два милых недоростка, которые все-таки чуть-чуть не доросли. А то была бы идеально ровненькая полосочка зубов. Впрочем, Лиля уже примирилась с этим и смеялась в полный рот.

Дарья Александровна оглядела ее ладненькую фигурку с молодой грудью, золотистые косы, одобрительно кивнула головой и еще раз пригласила приходить.

Лиля прибежала в первый вечер после сдачи истории. Дарья Александровна согрела чаю и выставила печенье, а после занялись шитьем. Скроили из модной тонкой майи платье-татьянку с широким поясом, Лиля помогала наметывать. Разговаривали.

— Вам повезло, Дарья Александровна. Вы хоть както великих людей видели. А я вот всю жизнь проживу — никого не встречу.

Дарья Александровна отложила юбку с иглой.

— Великим делает человека труд. Твой отец был замечательным мастером, очень нужным человеком. Но в вашей деревне. А есть труд, который нужен всем. Здесь оценки другие. Творческие. Писатель написал повесть. Ее прочли миллионы. В тысячах душ загорелись искры...

Марина Ладынина сыграла свою Марьяну в «Трактористах», и многие девушки сели на тракторы. Наталья

Ужвий сыграла в «Радуге» партизанку, и миллионы возненавидели фашизм с еще большей силой. Но это не великие, это просто известные люди. Великие — это те, чей труд надолго, на века. Здесь уже талант особый. Но знаешь,— она засмеялась, обнажив прокуренные зубы,— без малого труда не было бы и великого. Ничего не зарождается на голом месте. Великие зодчие появляются потому, что до них уже были миллионы малых. И так в каждом деле.

А что касается «Кубанских казаков»,— она снова принялась за шитье,— то... красивая картина. Но не верю я, что такая раздольная жизнь пошла через пять лет после войны. Такой войны! Это скорей наглядное пособие: вот к чему мы должны стремиться. Но не сегодняшний день.

Лиля уныло глядела в ее улыбающееся лицо.

— А мы вышли с Милушей и говорим: «Ведь есть же где-то лучшая жизнь? Ведь живут же люди! Почему же у нас так плохо? Бедно?» И так нам захотелось уехать куда-нибудь... где лучше...

— Настанут лучшие времена,— задумчиво сказала Дарья Александровна,— вы будете работать, хорошо одеваться, много ездить, много видеть.

— А будут эти лучшие времена?— недоверчиво спросила Лиля.

— Конечно,— Дарья Александровна подошла к Лиле.— Я уверена, что вернусь в школу, переселюсь в Киев. А ты выбери себе дело по душе. И учись. Всегда учись, Лиля. Вот поступишь в музыкальное...

— Не-а...— та помотала головой.— Я без Милуши никуда... Мы хотели в театральное, театрального нет... Остается педучилище...

Дарья Александровна покачала в сомнении головой:

— Какой ты еще ребенок, Лиля... Не будешь же ты все время с Милушей.

— А почему?

— Ну, замуж-то вы не за одного пойдете?

— Пусть. Можно в одном поселке.

Дарья Александровна сняла со стены гитару, настроила ее, и начался дуэт. Сначала тихо, медленно:

Я рассею свое горе,
Я рассею свое горе,
По чистому полю...
По чистому полю...

Потом темп убыстрялся, надо было только успевать четко выговаривать, выпевать:

Я садила-поливала,
Я садила-поливала
Для дружка милого,
Для дружка милого,
Для дружка, дружка милого.

Для дружка, дружка милого, для дружка милого, гостя дорогого!— ставилась задорная точка в конце.

Потом пели про Никиту в белой свите, про Егорушку, что звал послушать песенку, как посеяли Маше горох, а закончили Пепитой-Дьяволо.

Узнала в этот вечер Лиля и про озеро Мойл, и кто такой король Лир, нашла потом в библиотеке Шекспира, а про Томаса Мура, чью песню хотела выучить, даже и библиотекарша не слыхала.

Лиля перешла через площадь и неожиданно увидела драмтеатр. Посмотрела, что идет, с волнением обошла его и с замиранием остановилась поодаль, увидев надпись: «Служебный ход». Она еще ни разу не была в театре, знала только по фильмам актеров. Хотела написать письмо Блинову, посоветоваться с ним и спросить, почему он не снимается. Почему-то ей казалось, что он бы ее понял. Не знала она его отчества. А написала бы прямо, какая она есть, хорошая спортсменка, петь любит, а почему артисткой хочет, и сама не поймет. Все говорят, что у нее способности. Да только вот и учительницей она хочет.

С завистью оглядела еще раз афиши с фамилиями актеров, витрину с фотографиями, спустилась снова к Омке, и моторка опять перевезла ее на низкий берег. На базаре нашла тетю Настю, та торговала первыми огурцами. Обняла Лилю, широко улыбнулась.

— Так не зайдешь к нам? Ну, будешь учиться, может, опять у нас поселишься? На пригородной ветке будешь или на моторке до училища, а? Далеко, конечно. Но дядя Иван уже тридцать лет так... а?

Дала два огурца.

Лиля вышла за город, опять села на попутную машину, сошла у лесничества.

Дома Егор Степанович подал ей письмо от тети. Та очень просила, чтоб отпустили и вторую племянницу к ней. В Алма-Ате тоже есть педучилище, но сравнивать столицу и Омск — это же смешно. Словом, она уже была

в этом самом училище, говорила, что племянница ее отличница, ее ждут. И Лиле с Райкой здесь будет неплохо

Егор Степанович с полуулыбкой смотрел на дочь.

— Ну, что?

Она опустила глаза.

— Знаете, я поеду...— и виновато посмотрела на отчима.

Он вздохнул.

— Подождем мать.

Галька, услышав, что сестра собирается уезжать, подняла рев.

— Ты чего?

— Ничего...— слезы текли сквозь ее пальцы.— Ты как Райка... злая, не жалко тебе нас...

Лиля обнимала лохматую сестренкину голову, поправляла колечки кудрей, чмокала в макушку.

До полночи сидели все Никитины, прикрутив лампу, обсуждали, ехать или не ехать Лиле в Алма-Ату. Наконец мать сказала:

— Пусть едет. Может, и мы со временем переберемся на эти самые яблоки...

Простились с Дарьей Александровной. Еще надо было с Володей... Он теперь в городе. В ремесленном. Учится в вечерней школе. Мать приехала, у них теперь своя избушка.

На выпускном вечере Володя танцевал только с Лилей, копировал беззлобно то учителей, то учеников. Напропалую острили Милуша и Борька Сазонов. Потом подошел Владимир Федорович, стал тоже рассказывать что-то смешное. Наверное, школьная поляна ни разу не слышала таких взрывов смеха.

Разошлись уже под утро. Милуша пошла с Ваней. Вот любит ее он! Наверно, поженятся после армии. А Володя пошел с Лилей, проводил чуть не до Петровки. Снял свой пиджак, надел на нее, а когда прощались, пустые рукава связал, притянул Лилю к себе, но потом испугался собственной смелости, взял ее за руку.

— Давай будем встречаться,— сказал и залился весь краской.

— Где?— спросила она.

— В городе.

— Хорошо...

На том и простились. Предложение Володи чуть-чуть взволновало ее. А нравился он ей просто как друг.

В тот день, когда она забрала обратно документы, она

нашла избушку Лозинских. Белая саманушка, сирень в палисаднике, у заборчика лавка.

Лиля в голубой блузке и юбке в складку с широкими лямками. Густая вьющаяся коса перекинута через плечо, другая за спиной. На ногах брезентовые спортсменки, от которых ногам и через носки жарко. В правой руке неизменный ридикюль. В ридикюле письмо, если Володи не будет дома.

С грустью смотрела она на дверной замок, черневший так неприятно.

Опустила письмо через почтовую щель, посмотрела пристально в оба конца улицы и пошла к Суровым.

Она не могла видеть, как из соседнего дома вышла девчонка, примерно такого же возраста, как деловито крутанула кольцо в воротах, открыла почтовый ящик и вытащила письмо. Не раздумывая, чернявая девчонка тут же прочитала его: «Володя, я на днях уезжаю учиться в Алма-Ату. В воскресенье я буду в лесничестве. Если будет время, приезжай к Милуше. Лиля». Девчонка резко выдохнула воздух и разорвала письмо на четыре части, зажав в кулаке обрывки.

— Много хочешь, да мало получишь,— сквозь зубы сказала она.— Езжай в свою Алма-Ату...

Ну до чего же день был невезучий! И на дверях Суровых тоже чернел замок. Лиля чуть не заплакала. Пришлось присесть на соседнюю лавку и написать Вале прощальную записку.

Она решила зайти в книжный, может, что интересного Гальке привезет. Вспомнилось, как здесь когда-то встретила Костю с Женькой. Костя нынче закончит техникум. Женька на агронома пошел. Валя будет вожатой в школе, где училась Лилька.

По тротуару навстречу шли Женька и Костя. Лица их были хмуры. Длинный стал Женька. А Костя совсем красивый в вельветовой черной куртке с белым воротником.

Лиля обрадовалась и остановилась. Женька, как слепой, уставился ей в лицо.

— Валю вчера грозой убило...— сказал он каким-то осевшим голосом...— В лагере... в пионерском... Стала горнить... ребят созывать... Молния ударила..

У Лили задрожали губы и она уткнулась Косте в плечо. Тот прижал ее голову. Женька взял ее за руку, и все трое поспешно пошли к дому Суровых. Вот-вот должна была подойти машина из лагеря.

Теперь во дворе и около собрались люди, переговаривались вполголоса.

Память о Вале осталась на всю жизнь. И даже ее смерть казалась Лиле похожей на ту, какой умирали герои в войну. Ведь гроза шла сильная, пионеры были на реке и в лесу, Валя хотела побыстрей собрать их в палатки... На могиле ее поставили красную звездочку на тумбочке.

ДОРОГА

Вот и сбылось. Она едет на поезде. Почти за три тысячи километров. Остались позади станция и совхоз, прощай, семилетняя школа имени Кирова, промелькнул знакомый разъезд, мелькают околки, кружатся...

Мать наказывала быть повнимательней, не доверять всяким, держаться около пожилых, не выскакивать на полустанках, прятать деревянный чемоданчик под головой... Продали нетель, купили осеннее пальто — из флотского сукна, тонкое, в талию, купили ботинки с меховой опушкой, туфли, джемпер. Мать выстояла в очереди, купила четыре платка, сшила юбку-шестиклинку. Охала-охала, выменяла на масло рижскую комбинашку, розовую, с кружавчиками. Из коленкора сшила две. Лиля кружева к ним связала. Все добро в деревянном чемоданчике, который сколотил из фанеры Егор Степанович: выкрасил черной краской, приделал ручку, замочек нашел.

У Лили верхняя полка. Внизу старик со старухой, напротив отсыпался какой-то военный, из соседнего купе заглядывал щербатый парень, из тех, что стянут запросто не один чемоданчик. Старуха была злая, длинная, все что-то выговаривала старику, один раз даже замахнулась. Старик тяжело убрал ее руку, уставился в окно.

«Не старуха, а гвоздодер»,— покосилась Лиля. Старуха заметила ее неприязненный взгляд, затрясла головой, стала перевязывать под двойным подбородком платок.

Щербатый парень уселся рядом, стал кокетничать:

— Девушка с косами, как вас зовут? Впрочем, я угадаю... Надя? Вера? Люба? Ох, глазками-то как повели! Мои глазки, как коляски, только не катаются...— пропел он.

— Отстань от девчонки,— сказал старик.

Парень пересел к старику, стал донимать своими рассказами, смехом.

— Выхожу, где заводскую трубу увижу... Работаю, сколько нравится. Потом тю-тю!

— А что ж бегаэшь?

— Интересно...— парень запел что-то, оборвал звук, повертел головой, глянул в окно.

— О, вон виднеется заводская труба! Здесь мы и сойдем. Адью, добрые люди! Как бы контролер не попутал. Билетики мы не уважаем.

Он подморгнул плутовато и исчез.

Старуха долго трясла головой и ворчала про всяких проходимцев и «хулюганье».

Из соседнего купе доносилась песня, пели два парня под гитару.

Лиля то читала, то глядела в окно.

Где-то ночью сошел военный, его место занял молодой парень.

— Доктор Ваня,— представился он утром. У него было крупное лицо с пепельными волосами, подстриженными ежиком, белозубая улыбка и добрый прищур глаз. Вся внешность его почему-то располагала.

Он работал год в Боровом. Теперь едет к матери и брату. Брат — студент. На третьем курсе педучилища. Бредит горами и пропадает в горах. Она тоже будет в педучилище? О, тогда они познакомятся — Лиля и брат. Мать — учительница. Генка в маму пошел. Хотя, может, и в папу. Папа у них был военным. Генка рвется в армию. А у него, у Вани, профессия врача. Работа интересная. Больные его любят. Особенно женщины. Когда ушла в отпуск фельдшерица, ему пришлось быть и гинекологом, и акушером. Вернулась, а к ней на прием не идут. Потому что она на них орет. А бедных женщин пожалеть надо. Вот они и говорят: «Только к доктору Ване».

Он говорил об этом просто, и Лиля верила ему. В словах все было не стыдным, а естественным. Потом он стал показывать подарки: материю на платье, серьги с голубыми камешками, рубашку для брата с черным блескучим галстуком.

— Не любит галстуки,— сказал ласково,— вот хочу приучить. Влезет в одну куртку и весь год...

Вытащил из кармана коробочку — там лежали часики и браслетка.

— А это кому?— улыбнулась Лиля.

— Это одной девушке,— сказал он. И стал с улыбкой рассказывать, как однажды он пошел в кино, а впереди сидела черненькая девушка в тюбетейке. Почему он на

нее смотрел, не знал сам. Прошло пять лет. Друзья стали его звать на танцы. Танцев он не любил. «Если ты, Кот, не пойдешь,— сказал друг,— я тоже не пойду». Пришлось ради него пойти. И вот на вечере, в медицинском, он снова встретил ее, с черными кудрями до плеч. Так и познакомились. Ей еще год учиться.

Лиля вздохнула. Вспомнила Костю, Валю, Милушу.

— А ты любишь?— отвлекся он от своих воспоминаний.

— Было, да прошло.

— В пятнадцать лет разве можно так уныло?— сказал он.

И стал опекать Лилю. Выскакивали на станциях, стояли у окна, говорили о книгах и фильмах, потом он где-то задержался, видно, в другом вагоне.

Наверное, ему показалось скучно... «Ты еще не читала «Графа Монте Кристо»? Вообще Дюма не читала?»— «У нас, Ваня, нет в библиотеке Дюма. У нас только Купер есть».—«А Майн Рид?»—«И Майн Рида нет. Зато я всего Жюль Верна прочитала».—«Да, конечно, у тебя такой возраст — подавай приключения!»—«Нет, почему же, я и «Анну Каренину» прочитала, и «Тихий Дон».— «А «Войну и мир»?»—«Ваня, я ведь еще только в восьмой перешла. А если учесть, что четыре года вообще без книг, потому что в Петровке их не было, то вы должны быть ко мне снисходительны».—«Господи, какой взрослостью от тебя повеяло!»— с насмешкой.

«Ну и пусть смеется! «Доктор»! Интересно, что сам-то в пятнадцать лет читал? Хотя, конечно, читал, вон как сыплет названиями. Ничего, доктор Ваня, давайте встретимся через четыре года, когда у меня тоже в кармане будет диплом!»— и она записала в общую тетрадь названия тех книг, что услышала впервые от Вани: «Собор Парижской богоматери», «Красное и черное», «Евгения Гранде» и «Фауст».

Злая старуха и молчаливый старик сошли, вошли двое других, судя по всему, муж с женой, молодые. Она была на голову выше своего мужа и замучила его своими капризами. Только к ночи молодой муж мог заснуть.

«Доктор Ваня» вернулся поздно.

— Встретил товарища, поиграли в карты, извини, пожалуйста.

— Почему вы извиняетесь?— обрадовалась она.

— Не знаю. Укор совести.

— Отчего?

— Как будто сестренку бросил.

— А-а...

— Ваня,— сказала Лиля негромко,— вот я в первый раз еду... все чужие... И вот встретила вас...

— Дорога по-особенному сводит людей,— сказал он.

Долго молчали.

— Ваня! Не спите?

— Нет.

— Хочу работать скорей.

— Что так?

— Хочу, как вы... с людьми тесней... А работа хирурга опасная?

— Ответственная...

— А вы хотите быть знаменитым?

— Настоящим...

Внизу застонала длинная беременная женщина. Муж сразу вскочил, что-то спросил.

«Господи, за что-то же он любит эту страшилу?»— подумала Лиля.

Перед Алма-Атой Ваня принес яблок и помидо[illegible].

Начались сборы. Все нетерпеливо посматривали в окна. Парень с тяжелой челюстью, которая, казалось, перетянула его рот набок, тихо дремал, изредка пытаясь еть. Длинная женщина зажала рот рукой и побежала к тамбуру. Муж кинулся за ней. Доктор Ваня изредка посматривал на Лилю, но видно было, что он весь в ожидании. Лиля ахала про себя, всматриваясь в приближающиеся горы.

Это слово кто-то произнес еще сутки назад, но тогда они рисовались далеко, на горизонте, и манили, и завораживали. Теперь они казались укрытыми бархатистыми полосами, курились голубой дымкой, изредка посверкивая, как будто кто-то далеко прятался с зеркалом и пускал зайчики.

— Красота-то какая!— сказала Лиля.

— Привыкнешь,— отозвался Ваня.

Лиля в сомнении покачала головой.

НАШИ ТЕНИ ЛЕЖАЛИ НА ОБЛАКАХ...

«Дарья Александровна! Наконец-то вы в школе. Вот человек Владимир Федорович! Помог. Я часто вспоминаю его, потому что у нас математик никудышный. А Владимир Федорович — это... Как он радовался, если задавали ему вопросы! Не переживайте, Владимир Федорович по-

может вам методику вспомнить. Ах, как хорошо... Я начала читать письмо и пустилась в пляс. Но даже если бы я не была одна дома, я бы все равно плясала.

Сообщаю вам, что успехи у меня есть. Музграмоту одолеваю, сносно играю на домре. Пою на вечерах. Бывает, что и на «бис». Читаю много. Наверстываю упущенное в Петровке. Плохо, что в училище не изучается иностранная литература. Но я пошла в городскую библиотеку, и там мне помогли составить список. По этому списку я и беру. Уроков много. А чтобы тянуть на повышенную, надо сидеть. Так что времени совсем нет. Тетя у нас заполошная, шумная, но добрая. Ей очень нравится, что ее племянницы — отличницы и выйдут в люди. «Друг сердца» ее относится к нам уважительно. Наша Галинка пишет очень часто, приписки делают по очереди то мама, то д. Егор. По дому скучаю. Часто вижу во сне наш дом у леса, часто снится мама»,— Лиля писала торопливо, хотелось успеть в степь.

Тетя со своим «другом сердца» и с Райкой пошли в кино. Лиля прихватила кофтенку, чтоб постелить на траве, взяла учебники и пошла в степь: тетин домик был почти на краю города.

Нет заниматься сегодня невозможно. Она села и восторженно стала смотреть в небо. Облака загромоздили запад, закрыли солнце, но оно голубыми лучами било поверх них, расходясь, как веер. Потом вызолотило края этих облаков, будто набросило золотую цепь, потом превратилось в светящийся василек. Наконец облака совсем спрятали солнце...

Вдруг сквозь темную голубизну начал светиться глаз, и совершенно округлый свет его манил к себе, звал призывно. Потом глаз стал сплющиваться, точно его прикрыли веком.

Облака быстро редели, и теперь солнце, как сорванец, высветило всю облачковатую кутерьму. Казалось, что веселятся и оно, и облака, наляпавшие нелепицы на небесном своде, и горы, закурившиеся в клочковатом тумане. Вчера ей тоже не сиделось дома. И вчера она тоже уходила сюда, где все тонуло в голубоватом и лиловом тумане. И ходила босая, осторожно ступая по степной траве.

Несет приторно-сладким цветом — серебристый лох старательно насыщает окрестности..

В Милушином питомнике он цветет самым последним. Так хочется к ней.

Она поднялась и пошла к логу, где цвел лох. Сломила серебристую веточку с желтыми цветками и побрела босая, поглядывая на небо, переполненная любовью ко всему.

И тут она увидела Геннадия.

Он бежал по дороге в шароварах и в майке, высокий, кудлатый, размеренно работал локтями — видимо, тренировался. Лиля от неожиданности остановилась, покраснела. Он тоже увидел ее, сбавил шаг, махнул рукой. Так они приближались друг к другу и улыбались.

Геннадий — третьекурсник, брат доктора Вани, ходил в горы, уводил на воскресенье девчонок и мальчишек, а в понедельник те рассказывали, как они «штурмовали» стену, обвязавшись веревками.

Горы Лиле нравились, но у нее было свое мнение о них.

В прошлом году, в первые же дни, ей захотелось посмотреть восход солнца. И она полезла в горы. Бархатные издали прилавки встречали ее колючками, царапалась жесткая трава, какая-то гадость ожгла ей лодыжку, шиповник урвал клок с платья.

Еле вползла по пыльной тропке туда, куда намечала. Восход она посмотрела, но в горы больше не тянуло. Лучше смотреть издали.

Курс был шумноватый, девчонки бегали на танцы, в кино, переписывались с солдатами-заочниками, зубрили математику.

Лиля ни в какие группы не входила, сидела одна на задней парте, на скучных уроках рисовала шаржи, отвечала всегда впопад, ее, видимо, уважали, но в подруги не набивались.

Молчаливая, она не выбрала за год подругу, писала Милуше и Дарье Александровне длинные письма.

Геннадия среди парней училища она заметила сразу. Остро прислушивалась, что говорят о нем девчонки. Говорили только хорошее. Говорили, что ни в кого не влюбится. «Помешан на горах, на стихах и на армии». Конфликтует с преподавательницей русского.

Однажды он приснился ей во сне. Лиля проснулась с улыбкой: рыжий!— это и был тот тревожный толчок, с которого началась ее любовь, как она считала.

И вот теперь они приближались друг к другу.

— Здравствуйте,— улыбнулся он смущенно.

— Здравствуйте, Гена,— улыбнулась и она, чувствуя,

что она уже не она, а бог знает кто. Наружу лезла глупая радость, хотелось говорить и смеяться.

Наверно, он тоже испытывал нечто подобное, потому что тоже смеялся пустякам и говорил громко.

Оба пошли по ложкам, заплетаясь ногами в длинной траве, не замечая ничего.

В следующее же воскресенье Лиля присоединилась к группе ребят, идущих в горы.

Наступила весна и второго курса. Почти каждое воскресенье девчонки пропадали в горах. Возвращались загоревшие, вымотанные, чуть гордые от того, что видели они то, чего пропыленные горожане не увидят. А девчонки касались облаков руками, забирались туда, где «тучи смиренно» шли мимо, и тени их, девчонок и ребят, лежали на облаках.

В очередном письме Дарье Александровне описывалось преимущество тех, кто ходит в горы.

Лиля писала долго, иногда подпирала щеку кулаком и чуть-чуть улыбалась.

Видела она перед собой поляну, сплошь заросшую незабудками, жарками, окруженную елями. У елей одна сторона была седая, сверкала и переливалась. Так они встретились с зимой в конце мая.

Валил снег, потом подул резкий ветер и сделал снег колючим. Набрали дров. Геннадий проверял груз и откладывал лишнее. Он хорошо знал силы каждого.

Ставили в темноте палатки, встречали отставших, готовили на костре ужин.

К Геннадию в палатку набилось человек десять. Сидели, полулежали, кто как. Геннадий читал стихи.

«А у меня настроение было неважное. Пошла побродить по гряде, недалеко от наших,— писала Лиля.— Для Гены я то же, что Тома, Нина, что все наши девчонки. Не объясняться же мне ему.

Кто-то обнаружил, что я пропала. Нашли меня и отругали за самовольный уход. Но скорее они злились на погоду, чем на меня.

Двенадцать часов. Снег все летел, кружился и уже не таял на остатках утреннего костра. Ничего не оставалось, как идти домой.

Нехотя собрались. Построились, проверили, не забыто ли что. Заметили, что проясняется. Короткий совет, и мы разделились на две группы. Кому на работу или на экзамены — шли вниз, остальные — дальше, к вершине.

Шли быстро. Торопились до темноты выйти к под-

пожно. Но через несколько часов туман перепутал наши планы. Мы потеряли ориентировку и безропотно шли за Геннадием. У него удивительная способность ориентироваться.

И все же пришлось ставить палатку.

На рассвете ветер утих, стало теплее, уснули.

Проснулись часов в девять — солнце, день летний. А кругом снег— сверкает, вспыхивает, глазам даже под очками больно.

И вершина вот она — рядом. Часа через три мы по традиции, которую установил Гена, пили на вершине компот, делили его ложкой.

Забыли холодную, почти бессонную ночь, смотрим на вершины Кунгей-Алатау. Вот бы там побывать!

Идем по крутому склону, другим ущельем. Прыгаем, как козлы, с валуна на валун до морены. На морене цветы. Маленькие, нежные, с тонким ароматом, они устилали всю долину. Серебристые ручьи разбивались на множество ручьишек, и казалось, что цветы прямо плавают в них. Сорвать, принести хоть несколько цветочков? Ничего не выйдет. Здесь надо просто побывать в мае, в июне... А собранные цветы увянут через пятнадцать-двадцать минут...

Ниже — озеро незабудок.

Рвали на бегу цветы. Гена ругал нас, торопил и тоже собирал букет. Сказал, что маме.

Это было обычное восхождение. Но почему все до мелочей отложилось в памяти? Из-за Гены? Конечно.

Мы ведь могли вернуться тем же ущельем, но он захотел, чтоб мы увидели поближе эти озера незабудок...»

Лиля склонилась над исписанным листком и расплакалась. Потом она сбросила одеяло, накинула платье с жакетом, всунула ноги в туфли, прошла мимо спящих — тети и Ран, на цыпочках прошла по двору и направилась к домику Николаевых, которые жили едва ли не в другом конце города.

...В окнах было темно, смутно белела занавеска на окне Геннадия. Лиля села в подвешенный гамак, покачивалась и предавалась своему горю.

«Если он выйдет, я скажу ему: «Мне плохо. Мне плохо оттого, что я люблю тебя». Я сейчас постучу и скажу: «Мне плохо».

Но она не постучала, и никто не вышел, и только самой себе она могла говорить без конца: «Мне плохо».

— Подъем!— раздался голос Геннадия.

Ребята завозились в спальных мешках. Лиля высунула голову. В карих глазах полусон.

— Подъем, подъем,— торопил Геннадий.

Девчонки вылезали из спальных мешков, сворачивали их, бежали умываться, становились на зарядку. Лиля терпеливо ждала, что же поручит ей тренер.

Когда все разошлись, он посмотрел ей в лицо.

— Ну вот...

— Что вот?

— Видела?

— Как ты распоряжаешься?

— Да. Вот учись, на старших глядя.

— Я серьезно жду, когда ты меня отправишь за делом.

— А я тебя не отправлю, присядь.

Лиля уселась на скрученный мешок. Лицо Геннадия совсем близко.

— Я тебя больше никуда отправлять не буду. Ты будешь со мной. Понимаешь, Лиля, увлечение горами у наших девочек скоро пройдет, а ты будешь водить. Вот уйду в армию, ты станешь инструктором.

— Я?

— Ну поверь мне, Лиля, я не могу ошибиться. Поэтому я тебя буду учить руководить.

— Я высоты боюсь,— сказала со вздохом Лиля.

— Это пройдет,— сказал он уверенно.— Этим я с тобой отдельно займусь.— Ну хоп! Займемся разведкой вон тех скал.

Лиля прилежно слушала его, глядя, как он вычерчивает рукой по скале маршрут их восхождения.

После завтрака, оставив дежурных у палаток, с ледорубами и веревками пошли к скалам.

По снежнику шли цепочкой, след в след.

Рая, разболевшаяся с вечера, но не хотевшая отставать, плелась последней и ныла:

— Ой, Витик, у меня полные ботинки снегу... Ой, Витик, я ногу никак не вытащу... Ой, вытащила, а ботинок в снегу... как же я откопаю...

Геннадий увидел отставшую Раю, вернулся:

— Ну что у тебя опять?— откопал ботинок, помог надеть.

Раины дикoватые глаза печально поморгали, смерив путь до скал, а Геннадий уже шел вперед, будто и не шагал по колено в снегу,

Геннадий и Лиля — в одной связке — поднялись уже метров на десять по скальной стенке, когда раздались громовые удары, и туча, урча и постреливая молниями, стала расти у всех на глазах, и молнии, казалось, уже вбивались в соседние скалы, и концы их трепетали в черном небе, ветвясь, как оголенное дерево.

Геннадий повернулся к Лиле:

— Марш вниз, всем. Я веревки сниму.

Лиля не помнила, как она спустилась вниз, как они бежали по снегу, пришла она в себя от того, что волосы на голове у нее трещали, как будто занимались от огня. Она схватилась за свою голову, но волосы все равно трещали, Лиля оглянулась на девчонок,— те тоже держались за головы руками, и Лиля сунула голову в снег. Треск прекратился. Она вспомнила, охлаждая лицо, что ледорубы остались у скал, но ведь Гена остался на скалах!.. Она крикнула девчонкам, которые, как куропатки, бухнулись в снег, чтобы они бежали вниз, а сама двинулась к Геннадию, которого в мути дождя уже нельзя было различить на серой стене.

Она бросилась было к ледорубам, но они гудели, наэлектризованные, а сверху ей кричал Геннадий, чтобы она убиралась отсюда поживей.

Лиля помотала своей потемневшей от дождя головой и стала сматывать веревки.

Через несколько минут спустился Геннадий, подхватил рюкзаки, Лилю за руку, и они побежали по снежнику вниз, к палатке.

На другой день вечером, когда они вернулись домой, в Лилино окошко заглянул Геннадий и спросил:

— Что ты будешь делать?

— Готовиться к экзаменам,— Лилины брови озабоченно нахмурились: она пыталась вспомнить, что ей надо было еще делать, но с приходом Геннадия все напрочь улетело из головы.

— Идем побродим,— сказал он негромко.

— Идем,— сказала она, оглянулась на дверь и вылезла в окно.

Было уже темно. Геннадий смутно видел ее лицо при отблеске далеких фонарей.

— Давай залезем на дерево,— сказал он.

— Давай,— сказала она с задором.

Они вскарабкались на дуб. Стояли на толстом суке. Геннадий отошел метра на полтора в сторону, покачался,

пробуя его устойчивость, и начал приседать на одной ноге, вытянув другую вперед. Так он проделал раз двадцать. Лиля ахала, обнимая ствол.

— А теперь ты,— сказал он.

Она охнула, но присела два раза, а потом у нее закружилась голова, и она снова обняла ствол.

— Ничего, привыкнешь,— сказал он.— Надо только почаще заниматься так. И высоты перестанешь бояться. Я ведь тоже боялся. Меня Виктор воспитывал.

Они сидели, свесив ноги вниз, в пятиметровую пустоту. Потом спустились на землю. И бродили до трех часов утра по улицам города.

«Дорогая Милуша! Училище расформировывают. Есть два пути: в Панфилов и в Тургень. Тургень — это большое село, километрах в шестидесяти от города. Выбрала я третий путь: к себе, в Омск. Хватит мне мотаться по белу свету. Думаю, что вы будете рады: ты, мама, Галинка, д. Егор, Дарья Александровна. Володя тоже будет радоваться. В военное училище собирается? Что их тянет в эту армию? Гена осенью тоже уйдет. Пока мы с ним не разлучаемся. Тетя смеется: поженились бы... Гена в ответ: невеста молода, не зарегистрируют. Он так ко мне относится!.. Девчонки мне завидуют, некоторые озлобились... Пусть их. Ничего, как-нибудь четыре года пролетят... через два года в отпуск придет...

А Володя сказал, что любит? Не знаю, куда делась та записка, что я положила в их почтовый ящик.

Что пишет Иван из Монголии? Хотя больше не пиши. Скоро увидимся. Моя светленькая...»

ОБРЫВ

Тридцать шесть двоюродных сестер было у Лильки. Некоторых еще качали в люльках, другим было за сорок. Жили большинство в деревнях, некоторые в городах. Среди городских выросла и Татьяна с мальчиком, овдовевшая недавно. Татьяна работала в Омском драмтеатре костюмершей, покойный муж был столяром. Домик их стоял на берегу Омки, во дворе — небольшой огород, сад. Про Татьяну вспомнила мать, когда вернулась Лиля из Алма-Аты, и все вместе решили, где ей жить в городе.

Татьяна — низенькая, полная, живая, все делала бегом. Этим она напоминала свою тетку — Марью Никитину.

Встретила Лилю хорошо, покормила, чайник вскипятила. На белую скатерть кружочки деревянные положила.

— Понюхай, как пахнет,— сказала и сама поднесла к носу горячий тоненький кружок.

Лиля понюхала. Горячее дерево пахло особым, очень приятным запахом.

— Кипарис,— сказала с гордостью Татьяна и сразу перешла к делу.— Мы тебе выделим спальню,— сказала решительно.— Обставляй ее по своему вкусу.

Лиля рассмеялась: да чем же обставлять?

— А-а, ну тем, что есть. Может, тебе не нравится, как оно там стоит. Может, картиночки повесишь. Слышала, рисуешь ты хорошо. И вообще, Лиль, ты должна выбиваться в люди всеми силами. Какие есть таланты, все наружу. Нечего прятать...

— А кто его знает, какие таланты,— засмеялась Лиля.

— Ну, поглядим,— сказала Татьяна.— Только ты мне помогай обучать Мишку. Поглядывай за ним, чтоб уроки делал. Платы я с тебя не возьму за жилье. Только то, что училище выделит.

Лиля посмеивалась. Татьяна ей все больше нравилась.

— Ну как там наша Лелька живет в Алма-Ате?

— Крестная живет хорошо. Работает в поликлинике. Есть «друг сердца».

— Что за «друг сердца»?

— Знаешь, неплохой мужик... Но у него семья... дети... К жене относится с уважением... Уж не знаю, ведает ли жена про его любовь на стороне. Во всяком случае, крестную бросать он тоже не собирается.

Татьяна покачивала головой с осуждением.

— А Раиска ваша?

— Тетя потеряла надежду иметь детей и хочет, чтоб Райка жила вместо дочери. Райке нашей у нее нравится. Та ее холит, шьет по моде платья. В институт поступит... по-моему, наша Райка — отрезанный ломоть.

— А что тетя Маруся думает на этот счет?

— Мама согласилась. Только пусть, говорит, не забывает, что у нее есть мать.

Татьяна опять закивала головой, но уже одобрительно.

— Вот приобыкнешь, будешь к нам в театр ходить, постановки пересмотришь. В актеров не влюбляйся — на-

род непостоянный, хотя и симпатичный. А я их всех люблю. Тронутые немножко, правда. Ну так ведь артисты!

За несколько дней Лиля получила исчерпывающую информацию о драмтеатре и об актерах. По Татьяниным рассуждениям выходило, что не талантливых вовсе не было. Есть, конечно, выпивохи, задиры, смутьяны, а в общем народ как народ. Живут недалеко — в двухэтажном деревянном доме. Ну, те, кто заслуженные, те живут попросторнее, в другом месте.

Недавно приехал один новенький — Отелло будет играть. Серьезный, малоразговорчивый, высокий. Говорят, очень способный.

Так вернулась Лиля в родной Омск. Была она уже студенткой третьего курса. Омский курс был увлечен театром, а ей снились горы, Геннадий.

Девчонки были влюблены в актеров ТЮЗа. Если видели своих кумиров на улице, шли как завороженные, потом рассказывали, кто шел, кто что сказал, как посмотрел. А Черданцев-то... А Янтиков... А Миша Яковлев... А Основин-то, Основин!

Лиля с удовольствием смотрела тюзовские спектакли, но ни в кого не влюблялась.

Потряс ее Дмитрий Савин в «Отелло». «Отелло» шел в драмтеатре.

Несколько дней она ходила отрешенная от всего, получила двойку по алгебре, часами сидела, обхватив голову: «Только бы увидеть, только бы взглянуть».

— Лиль, ты чего такая?— спросила Татьяна, разжигая керосинку.

— Влюбилась.

— Вот... А Гена?

— Гене написала, что разлюбила.

— Успела!

Татьяна поставила кастрюлю на керосинку. Села у стола на кухне.

— Как же это? Кто это?

Лиля поколебалась, хотя уже ночью решила, что, кроме сестры, никто не поможет, назвала имя.

Татьяна поднесла пальцы к губам, задумалась. Потом решительно стала нарезать хлеб.

— Знаешь, не советую. Ты еще девчонка совсем, а он как-никак мужик. Жена скоро приедет. Дочь у них. Ну побудет он с тобой, сорвет с тебя, что надо, и адью.

Лиля поморщилась.

— Какие вы все. Сразу: «сорвет». Не такой он.
— А ты откуда знаешь, какой?
— Знаю.
— Раз увидела на сцене — и знаю! Так, милая, на сцене они все люди!..
Лицо Лили стало отчужденно-насупленным. Татьяна искоса поглядела на сестренку.
— Знаешь, во всяком случае, не торопись. Проверь себя. Уж если станет невмоготу — тогда другой разговор. Познакомиться хочешь? Пожалуйста. Познакомлю. Может, поближе разглядишь — охота пройдет.
У Лили порозовело лицо, она соскочила со стула, обхватила Татьяну за плечи, стала прижиматсья и тормошить ее.
— Сейчас-то ты ожила,— сказала она,— но ведь ты ж дикарка. Ты как Бэла у Лермонтова — кто бы ни пришел — забьешься в угол и сидишь. Как же ты с Дмитрием-то будешь разговаривать?
Лиля исподлобья взглянула на сестру.
— Только ты не сейчас меня знакомь.
— Струхнула,— поставила точку Татьяна.
— Струхнула,— с глубоким вздохом ответила Лиля.— Но я никого еще так не любила.
— Ой, господи!— засмеялась Татьяна.— Велику ли жизнь прожили, Лиль Иванна? Семнадцать лет. Ладно. Не распускайся. А то Мишка нервничает. Лиля, говорит, болеет, за голову держится.
— Мишку люблю,— оживилась Лиля.
— Бесенок,— усмехнулась Татьяна.— Давай завтракать. Суп закипел.
Но вмешательства Татьяны не понадобилось. Познакомилась Лиля с Савиным сама. Привел его классный руководитель на занятие драмкружка. Репетировали «Таню» Арбузова.
Таня не получалась. Классный удивленно качал головой и мягко укорял Никитину.
— Не узнаю, не узнаю тебя, Никитина... Что случилось?
Лиля деревянно двигалась по сцене, деревянно произносила фразы, потом ушла за кулису и просидела все время, пока шла сцена с Шамановой.
Потом она решительно подошла к актеру, спросила:
— А могли бы вы сесть так, чтоб я вас не видела?
Классный медленно стал краснеть, но Савин кивком ответил Никитиной и пересел в самый конец зала.

Пошла снова сцена, где Таня готовит стол, ждет Германа, напевает.

Сцена прошла на подъеме, Лиля раскраснелась, и классный удовлетворенно кивал головой.

Дмитрий Савин высказал свои замечания, потом отвел Никитину к окну и спросил, почему он мешал ей играть.

Лиля опустила глаза и яростно наматывала конец косы на палец, так что Дмитрий Савин отвел ее руку и откинул косу за спину. Лиля с запинкой сказала:

— Вы не думайте ничего... Вы лучше еще раз к нам приходите... Пожалуйста...— и она подняла на него наконец свои глаза.

«Ого, златокарий омут»,— подумал он.

Он пришел через неделю, досмотрел последнее действие и стал первый аплодировать.

Классный руководитель поднялся с места, оперся на свои костыли и тоже зааплодировал.

Участники спектакля смущенно-счастливые ответили тем же. Можно было проводить генеральную.

Падал мягкий редкий снежок. У Дмитрия Савина был свободный вечер. Ему понравилась эта девчонка в шапочке с помпончиком, в лыжном костюме, в пестреньком пальтишке, с косами за плечами и золотисто-карими глазами на милом лице, усаженном черненькими родинками. Что-то в ней было, что хотелось разгадать. И он пошел с ней рядом, вызвавшись проводить.

— Хорошо,— сказала она, вздохнув.

— Так, Лиля, может, вы расскажете, почему я вам помешал своим присутствием?

— Этого я, Дмитрий Евгеньевич, вам никогда не расскажу,— твердо сказала она.

— Вы меня знали раньше?

— Только в «Отелло».

— Я вам не понравился?

— Наоборот. Мне было жутко за ваше, то есть за Отелло, за его одиночество. А как вы произносите: «Козлы и бараны!»— мороз по коже. Сидишь и чувствуешь, будто ты виноват. И аплодировать тягостно. Так правдиво.

Она говорила сбивчиво. Дмитрий Савин мягко пожал ей руку.

— Мы пришли,— сказала она.

— А вы часто бываете в театре?

Ей почему-то не хотелось говорить, что Татьяна работает там.

— Спектакли посмотрела все.

— Ну что ж, Лиля, приходите в театр,— сказал он.— Рад был узнать вас. Человек вы, несомненно, одаренный, надо бы подумать о театральном училище. Вам и тому пареньку, что играл Германа, вам обоим надо в театральное.

— Нет ведь в Омске театрального,— вздохнула Лиля.

— Можно через массовку попасть в театр,— сказал он.— Наши ведь набирают молодежь. Хотите, скажу режиссеру?

— Надо подумать,— сказала она.

— Да нет, учиться вы будете, просто к тому времени, когда вы закончите педучилище, в театре вас уже будут знать, возможно, и останетесь.

Помолчали. Он подал руку. Она свою. Медленно, нехотя, пошла к калитке. Дмитрий Савин невольно окликнул ее снова. Она обернулась, махнула рукой и взбежала на крыльцо.

Полночи не спала и ругала себя за то, что была холодной, за то, что из головы вдруг куда-то все исчезло — ничего путного не сказала. Что он теперь думает о ней?!

Рассорился с женой, сейчас уж и не вспомнишь почему. Выдался редкий свободный вечер. Было тоскливо и одиноко. Постоял у клетки с клестом, посвистел в раздумье и пошел на улицы, в снег, летящий длинными пушинками. Пришел к дому на берегу Омки. Позвонил. Открыл черноглазый мальчик лет двенадцати.

— Вам кого?

— Лилю.

Мальчик разглядывал его и молчал.

— Которая в вязаной шапочке, с помпончиком таким, знаешь...

— Знаю,— улыбнулся мальчик.— Проходите.

На кухне он указал на боковую дверь и вежливо ушел. Дмитрий постучал. Голос разрешил войти.

Открыл дверь и очутился в узкой комнатке. Чисто, несколько картинок, узкая кровать с кружевным белым покрывалом, стол с настольной лампой. Окно выходило прямо в сад, в сумерках виден был кружащийся снег.

Лиля повернулась на стуле к вошедшему и замерла.

Дмитрий чувствовал себя неловко и уже пожалел, что вошел: «Что я ей скажу?» — задал запоздалый вопрос. И наконец сказал:

— Здравствуйте.

Она медленно поднялась со стула и стояла, беспомощно опустив руки. Косы падали на спину, прихваченные приколками.

— Что же вы не приглашаете?— спросил он, скрывая напряженность.

Она перевела дыхание; радостно и недоверчиво покачала головой и сказала:

— Никогда не ожидала...

Пальто его она повесила в угол за занавеску, убрала учебники и постелила скатерть на стол.

— Лиля, а вы знаете, что я неразговорчивый?— спросил он, усмехнувшись.

— Нет, не знаю. А вы не смущайтесь, Дмитрий Евгеньевич, можете молчать пока. Что, на улице красиво?— спросила она из кухни.

— Очень. Хотелось валяться в снегу и лепить бабу.

— У вас много времени для меня?— спросила она, ставя печенье и чашки.

— Как сказать... бабу слепить можно...— он вглядывался в ее лицо, замечая тихую прелесть.

— Тогда мы попьем чаю и пойдем в снег...

Чай пили почти молча, изредка он спрашивал о ней, о родителях, о практике в школе.

— Представьте, мы пишем конспект урока от слова до слова. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. «Здравствуйте, дети».—«Здравствуйте».—«Кто сегодня дежурный?»—«Сегодня дежурит Коля».—«Кого нет в классе?»—«В классе нет Иванова, Сидорова и Петрова».—«Хорошо, садитесь. Меня зовут Лиля Ивановна, дети. Я у вас буду вести русский язык». Или арифметику. Или: я буду заниматься с вами сегодня весь день. А без этого конспекта не подпишет методист и вас не допустят к уроку.

Он с улыбкой слушал ее иронический рассказ, любовался ее оживленным лицом.

— Ну, идемте лепить бабу?— с улыбкой сказала она.— Только вы наденьте шубу, а то мы выкатаем вас с Мишкой в снегу.

Он надел старенький полушубок Татьяниного мужа, она — короткое пальтишко, повязалась платком и крикнула племяннику:

— Мишуля, пойдем с нами бабу лепить....

Часа полтора со смехом они катали по огороду валики, Дмитрий укладывал и обчищал их. Слепили трех: ба-

бу, деда и снегуренка. На деда надели старую шапку. Мишка орал от радости. Потом садились на санки и скатывались втроем с берега. Где-нибудь на середине горки все трое валились с санок и хохотали.

Мишка прямо повисал на дяде Мите. Долго чистились от снега.

— Вы придете еще, дядя Митя?— мальчик заглядывал в глаза.

Тот твердо пообещал.

Остались вдвоем на крыльце. Притянул к себе, весь напрягшийся, и чувствовал, как она подалась к нему. Свел с крыльца; когда отошли за стену, начал страстно целовать, а она торопилась ответить ему, что-то бессвязно приговаривала, задыхаясь от счастья, от того, что можно было говорить ты, гладить лицо, шею, прижимать его ладонь к своим щекам...

— Любимая...— от этого можно было с ума сойти.

— Мне ничего от тебя не нужно...— говорила она сбивчиво.

— Любимая... девчонушка... мы уедем с тобой куда-нибудь... далеко-далеко... на север, будем ходить в тайгу... Ты мое счастье, Лилечка...

— Не уходи, Митя... и говори, говори...

— Лиля, это чьи такие странные картины?— указал он на три небольшие рамки.

— Почему странные?

— Они, видимо, написаны в разное время и отражают состояние художника. А может, и не в разное. Может, написаны в зрелую пору.

— Странно,— повторил он.— Животные, а видишь человека. Вот этот жираф... Это мой портрет. У него человеческие глаза. Он много прожил, он знает, что почем стоит.

— Знаешь, Митя, я их поместила рядом специально, Вот здесь — козлята, перед ними зеленый, радостный мир. Здесь — другое. Розы. В них уже есть что-то темное. А жираф — да... Твой портрет?— она внимательно поглядела в его карие огромные глаза.

Засмеялся.

— Дмитрий Евгеньевич,— сказала Лиля нараспев,— какой же вы красивый!

— Так кто художник?

— Пиросмани.

— Жив?

— Нет.

— Умница какой!.. Лиля,— сказал он,— подари мне когда-нибудь этого жирафа.

— Да,— загорелась она,— к твоему дню рождения. В апреле.

— Ты рисуешь?

— Немножко. Только, может, не жирафа?

— Нет-нет,— запротестовал он,— только его. И внизу надпись: «Мой портрет».

— Нет уж, делай сам эту надпись,— отшутилась она. И задумалась. Ушла в себя. Потом встрепенулась.

— Тебе пора идти.

«Некуда мне идти,— хотелось ему сказать.— Заброшенный».

Ответил:

— Да, пора. Съезжу к брату.

Она отвела глаза.

— На улице мороз, а на тебе тонкое пальто,— сказала она с укором.

— Так я ж закаленный, не то что вы, как чуть: апхи!— и он чихнул несколько раз. Лиля рассмеялась.

Он оделся, стал у порога. Из другой двери выглянул Мишка, помахал рукой. Пробыли вместе часа три. Скоро должна вернуться Татьяна. Неудобно перед ней ему. Она, конечно, до поры до времени будет хранить их тайну. Но скоро тайное станет явным. Лиля любит без рассудка... пойдет, куда позовешь... Может, лучше сразу расстаться...

Она вышла проводить его. На крыльце собрала с перил снег, сжала в комок, положил ему в руку. Снежок таял, сквозь пальцы бежала вода.

— Лиля, что ты делаешь?

— Глупости.

— Девчонушка ты,— сказал мягко.— Ну, до свиданья.

— До свиданья,— она стояла в платье, обхватив себя за плечи.

— Ну, беги,— подтолкнул он в плечо.— Простынешь.

— Митя,— сказала она дрогнувшим голосом,— а ты меня бросишь...

Ему пришлось расстегнуть пальто, прижать ее к себе и нашептать всяких слов, которые успокоили ее.

Она закрыла дверь. Он послушал ее шаги, сошел с крыльца.

— У него нет позиции, он не знает, чего хочет. А если у человека нет ясной программы, толку с него чуть,— говорил Дмитрий резко.

— Но ведь он приехал совсем недавно, дайте ему оглядеться,— защищала Лиля главного режиссера, которого она знала только со слов Татьяны и Дмитрия.

— Он уже огляделся, знаешь, кого он приближает к себе? Тех, кто ничего не значит...

— Может, ты ошибаешься...

— У тебя очень доброе сердечко, Лиля, но ты еще совсем не знаешь жизни, а театра — тем более. У тебя еще романтический взгляд на все.

— А ты такой трезвый...

— Я не люблю, когда меня воспитывают.

— А я не терплю категоричности.

— Это ты мне?— изумленно спросил Дмитрий.

— Это я тебе,— сердито сказала Лиля.

— Цыпленок...— удивленно-умиленно сказал он.— Мы можем поссориться.

— Если поссоримся, в этом виноват будешь ты. По своей неспособности понимать людей.

— Ого,— обиделся он.

— Нет, в самом деле, Митя,— повернулась она к нему.— Мы с тобой знакомы три месяца, и все это время я слушала одно и то же, как плохи все и как хорош ты. А ты хоть раз задумался, отчего тебе плохо, отчего у тебя нет друзей?

— У меня есть ты...

— Спасибо, а то я думала, что ты сейчас повернешься и уйдешь. Мне говорили, что ты выслушиваешь людей, повернувшись к ним спиной.

— А почему я должен их выслушивать?

— Митя...

— Давай, саранчонок, заканчивай свое педучилище, оформим брак и уедем подальше...

— Ты от себя хочешь убежать...

— Вот твоя калитка...— сказал он,— она скрипит тоже по-весеннему, даже с каким-то весенним хрустом... А знаешь, у меня неприятность. Людмила решила рожать второго.

Голова у Лили закружилась, и она прислонилась

спиной к калитке, глядя неподвижными глазами в лицо Дмитрия.

— Ты же... ты же говорил, что не живешь...

— Она мне все-таки пока жена... а тебя я берег...

— Уходи, Митя... Я ведь ничего от тебя не требовала... Ты сам сказал, что сложил с себя обязанности мужа... Так будь теперь настоящим мужем!

— Сегодня я пришел к тебе в последний раз,— сказал Дмитрий.

Весна в этом году была ранняя, жаркая. Уже в начале мая зацвели яблони. В тени сада скоплялся аромат, стоял густо, томил.

Лиля уперлась плечом в ствол.

— Митя, ты шутишь,— сказала она жалобно.

— Давай простимся,— сказал он тихо.— Милая, славная девчонушка.

— Нет,— рванулась она к нему.— Нет,—и опустилась на колени, прижалась к его ногам.

Он поднял ее, посадил на лавку, сел рядом.

— На этой неделе мы уезжаем... Лиля, ты пойми...— что он говорил, она плохо понимала. Она зажала ему ладонью рот и стала горячо говорить:

— Ты хотел... сейчас...

— Лиля! Опомнись!

Она упала на лавку, обхватила ее руками, зашлась в плаче. Дмитрий гладил ее плечи, начал уговаривать.

— Вот закончишь, получишь свободный диплом, я буду тебе писать, возможно, ты устроишься в театре. Мы станем встречаться. Согласна? Если ты не разлюбишь меня до тех пор.

Она перевела дух, попыталась улыбнуться.

— Сам безотцовщина, когда-то я дал себе клятву: ни при каких обстоятельствах не бросать своих детей. Дочь у меня приемная. Людмила уже была замужем, и я взял ее с ребенком. Я любил их обеих, Лиля. Потом наступила полоса отчуждения. Это в семье бывает. Я уехал. Людмила не вынесла разлада, приехала ко мне. Она слабый человек. А ты сильная. Она больная. Ей нельзя рожать, но чтобы привязать меня, она пошла на последний шанс. Я не мог ее переубедить. Я должен быть при ней. Лучше, чем ты, меня никто не поймет.

— Ну вот,— облегченно вздохнул он, радуясь, что она слушает более спокойно.

Она быстро кивала головой.

Часа в три ночи Татьяна пошла в огород. На скамейке под яблоней сидела Лиля, обхватив себя руками. Попыталась подняться навстречу Татьяне, ноги подкашивались. Она тихо сказала:

— Отсидела...— но произнесла это с заиканием.

Сестра всмотрелась в ее лицо. Полная луна освещала белые яблони и совершенно белое лицо Лили, как-то странно перекошенное.

Татьяна охнула, потянула за руку, в комнате подвела к зеркалу:

— Смотри!..— и заплакала.

Лиля попробовала улыбнуться — улыбалась одна половина, вторая была неподвижной, один глаз был непомерно большим.

Татьяна стала наливать воду в кастрюлю — приготовить грелку. Лиля закуталась в одеяло, сидела привидением. Глаз не закрывался. Пришлось повязать платком.

— Ка-ак С-сильвер...

Старшая всплеснула руками: еще и шутит!

— Паралич у тебя!— в отчаянии сказала она.

Лиля грустно смотрела в пространство.

— Танечка,— сказала она безутешно,— он уезжает...

Старшая стала искать валерьянку.

— Вот, говорила,— причитала она,— не приведет к добру эта любовь. Ему что? Потешится — и бывай себе. Или...— встревожилась она.

«Сильвер» с белой повязкой грустно покачал головой.

— Ну, слава богу,— успокоилась старшая.

— Д-да, н-ну тебя,— улыбнулась Лиля.— К-как ты д-думаешь, п-п-пройдет?

— Врачи скажут... давай-ка пей... ох, мамочка. А тебе письмо от Геннадия,— запела она лукаво.

— Вот ч-чего сейчас мне н-не нужно...— вяло сказала Лиля.— Чего он зря пишет. Я ведь все ему объяснила... Давай письмо.

Она прочитала страничку.

— Р-рыцарь... надеется на любовь, в-вернется...— и зажала голову руками, вспомнив, что Дмитрий уедет и что она с ним никогда не увидится. Об этом ей твердил какой-то голос.

— Я ему завтра все скажу,— грозилась Татьяна, наливая грелку,— я ему по-нашему, по-русски...

— Т-ты ничего не скажешь,— твердо сказала Лиля.— Еще не хватало жалость в-выколачивать. Слышь, Т-татьяна?

Прошел месяц. Лицо почти выправилось. Лиля ходила на лечение, сдавала экзамены за третий курс. Летом, дома, уходила в лес, собирала ягоды, грибы. Галинка, длинноногая, солнечная и конопатая, смотрела на сестру влюбленно и ходила следом. Болтала о мальчишках и разных разностях. Подолгу лежали где-нибудь в теплой тени на полянах, плели из розового горошка венки и пели вполголоса. Дарья Александровна уехала из совхоза под Киев, писала письма и звала гостить при первой возможности. Милуша целыми днями была в поле, и только воскресенье оставалось для их встреч.

За лето боль в душе чуть-чуть притупилась. Геннадий писал, что познакомился с веселой библиотекаршей, которая очень интересуется Лилей и шлет приветы. Сначала эти упоминания не трогали Лилю, потом она стала злиться. И пожелала счастья обоим. Письма приходить перестали.

Назначение она выбирала сама. Могла бы и в институт пойти, да уж очень тяжело было на одну стипендию. Хотелось приодеться. В институт на заочное подала.

Деревня, в которую ее назначили, от их Петровки была недалеко. Мать и Егор Степанович радовались. Можно почаще видеться. Лошадь запряг, да и съездил, чего-нибудь отвез.

В школе выдали ботанику, географию, конституцию, историю и немецкий язык. В райцентре записалась в библиотеку, стала доставать учебники и пособия.

Семилетняя школа была в одном здании, большой двор был в деревьях и цветах, спортивные площадки находились сразу за пришкольным участком. Бывший директор, умерший по весне, любил школу. Лиля помнила, что о нем часто писали в газетах, и ей хотелось поработать с таким человеком. О нем говорили много в поселке и жалели.

КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ

«Нагрузка у меня такая большая и столько нужно готовиться... Я прихожу из школы и валюсь спать часа на два. Тогда могу вечером сидеть до полночи. Готовлюсь часа три-четыре, потом у меня раз в неделю семинар по

политучебе, самодеятельность тоже. Почти каждый вечер в клубе. На выходной выбираюсь в райцентр в библиотеку.

С концертом ездили в две деревни, в нашу Петровку. Для петровцев было неожиданным мое пение. Приняли!

Так что времени у меня нету. И хорошо. Иногда такая тоскища. По Дмитрию. Татьяна говорит, что, по слухам, живет неважно. А ведь живет! Дарья Александровна, надо ли так?

Иногда в нашу школьную квартиру стучат парни. Люська робеет, а я выхожу. Тогда начинается такой разговор:

— Добрый вечер, вам кого?

— Вас, Лилия Ивановна, и Людмилу Игоревну.

— Слушаю вас...

— Ну зачем же на крыльце?

— Извините, у нас не приемный вечер.

— А когда он будет приемным?

— В клубе — завтра.

— Ну, Лиль Иванна!..

— Ну, ребята...

— Ну, Лиль Иванна!..

— Ну, ребята...— и мы хохочем.

— Лиль Иванна, может, погуляли бы немножко. О звездах бы поговорили...

— Лиль Иванна, а по вас Янька страдает...

— Мы дождемся лунной ночи и объяснимся. Правда, Яня?— Так вот поболтают с полчаса и уходят.

Люська с ужасом говорит о деревне. Бедная девчонка. Ей не хватает папы с мамой, теплого туалета, ванны. Я бы тоже не прочь иметь все это, да где возьмешь? А пока мы ходим в баню к старикам соседям и моемся из деревянных шаек.

Раз в две недели у нас собираются семиклассники, мы устраиваем чаи и делаем газету метра на полтора шириной. Успех в школе необычайный.

Кое-что взвалили на меня, как на начинающую, молодую, кое-что я взвалила сама на себя.

Дарья Александровна, что делать? У меня в пятом почти все приезжие, каждое утро их привозят на санях. Иногда опаздывают, конечно. И у нескольких родители баптисты. Но баптисты мирные. А у одной девочки мать — фанатичка. Просто оголтелая какая-то. Лицо худое, глаза страшные... не говорит, а заклинает. Девочка худенькая, робкая. На большой перемене мы с ребятами,

взявшись за руки, поем песни. Она сидит в классе, смотрит в окно. Очень любит рисовать. Но никогда не берет рисунки домой. Самое ужасное, что мать ушла к баптистам после того, как разбился муж. Говорят, дружно жили, не вынесла горя. Лиза помнит отца, любит слушать чтение, но дома, кроме учебников, никаких книг не найдете. Девочка верит в бога так же фанатично, как мама. Есть и еще ребята, тоже верующие, но дети как дети.

Говорить им: нет бога — бесполезно. В ответ дружное: есть! Значит, надо потихоньку, но твердо. А как? Ботаника и зоология, конечно, мои помощники. История тоже. И все же этого мало. Начать самой читать Библию?

Мои пятиклассники верят в домовых, в чертей, оборотней. Недавно я попросила ребят нарисовать, как они им представляются. Начали с домовых. Я тоже рисовала. Помню, в детстве, придешь к тетке, сидишь на печке, взрослые гуляют, тебе надоест, скажешь: а я пойду домой! В ответ какая-нибудь девчонка постарше: а там сидит домово-ой! Сделает паузу: лапки сушит, тебя задушит. А мне страшно, опять сижу. Начинаю: а я пойду домой! Думаю, может, она скажет: иди, никого там нет. Она опять свое. Я таким и нарисовала домового: толстенького, похожего на маленького кенгуренка, с короткими ушками, с замерзшими лапками, сидит на припечке — греется. Другие изобразили его котом, маленьким стариком с длинной бородой — смеху было! Спрашиваю: страшно?— Нет!

Так это мы вместе, говорят, а когда в темноте... Ну и начинается урок сказок-россказней. И для них это серьезно! Главное ведь, никто не видел, а слышать все что-нибудь слышали. Кажется, помаленьку переубеждаю.

Все мои «таланты» пригодились в школе. И теперь я иногда думаю: а не остаться ли мне в школе навсегда? Но это иногда. Вообще же я настроена на театр. Я хочу в театр. Хочу петь! Хочу, чтоб услышал обо мне Дмитрий».

«Недавно встретила знакомую девчонку, из пединститута, разговорились о театре, об актерах. Что она мне сказала о Дмитрии! Он ей клялся. Клялся в любви. И еще одной молодой актрисе. У меня закружилась голова. Она говорит: что с тобой? Отвечаю: спала плохо. Расстались мы с этой девчонкой. Плохо помню, как дошла домой».

«Их театр приезжает летом на гастроли. Наш уезжает к ним. У меня как раз будет летняя сессия, Татьяна уезжает тоже с нашими. Мишка хочет в деревню. Я буду одна. Буду ждать Дмитрия каждый вечер. Те спектакли, где он занят, я буду смотреть, но так, чтобы он не знал. Он вообще не будет знать, что я его вижу. Если он меня помнит, он захочет прийти. Или пройти. Мимо дома над Омкой. А не помнит — значит, не придет.

Или я идеалистка, а? Дарья Александровна?»

ДОМ

В доме Никитиных редко бывало пусто. Теперь, когда Петровка стала центральной усадьбой совхоза, перебрались сюда сестра Егора Степановича с детьми и, тоже детная, сестра Марьи. У одной была похоронная на мужа, другой муж изменил.

Вот и приходили обе сестры звать на помощь мужика. Егор Степанович помогал. Были коровенки у них, да не сытно жилось. Мальчишки забегали к Никитиным подкармливаться.

Марья привечала родню: всегда у нее и постряпушки, и борщ, и простокваша не снятая. Самогонки не бывало. Родня такую скупость прощала Марье, а Егор Степанович, как известно, был непьющий.

С фермы Марья ушла по болезни. В садоводы. Жадная до работы, она и тут не жалела себя, да и от бригады требовала того же. Хороший сад заложили петровцы. Яблони-стланцы, смородина, малина, кусты красной и черной черемухи по меже, вишня карликовая, юрга. Все, что можно было приживить в нелегких сибирских условиях, несла Марья в свой сад.

Появились в доме Никитиных полка с книгами по садоводству и слово «женсовет». Марья председательствовала. Егор Степанович и сам уважительно вникал в ее работу и с удовольствием слушал, если в перекур мужики хвалили баб.

Поначалу только воскресники Марья организовывала: домохозяек на уборочную призывали. А потом «женсовет» и над столовой контроль установил, и над магазином, и над детсадом. Петровку меж собой поделили на участки — и все десять членов «женсовета» старались: у кого дворы будут чище. Первого мая и седьмого ноября итоги подводили.

Егору Степановичу давно по душе, что деревня расстраивается, целая улица прибавилась, мотоциклы кое-где трещат, а велосипеды чуть не в каждом дворе. Давно в домах детекторы сняли, приемники играют.

Доволен был Егор Степанович своей семейной жизнью, вот только сына хотелось. Но что-то случилось с Марьей, когда последний раз Галинку рожала,— не заводились больше дети. Приобвык он с девчонками. Как родные. Но теперь уж только по выходным приезжают. Галинка на втором курсе педучилища, Лиля живет в соседней Покровке. Рая в Алма-Ате первый курс университета закончила, но летом месяц-другой погостит.

Марья не нарадуется на девчонок. Да и с Егором Степановичем ладят. Только Лену Перекатову иногда припоминает. А та, будто нарочно, с недавних пор стала чаще проходить мимо их двора.

— Зачимчиковала,— говорила Марья в пространство, провожая глазами тощенькую щучью фигурку, выражая свое презрение этим уличным словечком.

Егор Степанович посмеивался над ревностью жены, а Марья не вытерпела. Вышла с задов, со двора, Лена как раз огибала тропкой их плетень.

— Здорово,— сказала негромко.— Может, объяснишь, почему зачастила мимо нас?

Лена смутилась, но чуть-чуть.

— Дорогу мне выбирать будешь?

— Буду,— сказала Марья.— Ищешь там, где ничего не потеряла. Или по-другому, напоминаешь ты мне Катьку-цыганку, что сделала в колхозе несколько выходов на работу, а осенью пришла в контору: «Деточка, а скольки мине тут тонн получать?»

Лена оскорбленно рассмеялась, хотела обойти Марью, но та перегородила тропку. И тогда Лена с усмешкой сказала:

— Ребенка я прижила от Егора. Второй месяц пошел. Вот и хожу, чтоб помнил. А рожу, носить мимо буду, авось и перетяну. Чего ему чужих растить?

И неспешно обошла оторопевшую Марью. Та пошла в сарай. Выревелась, утерлась, у колодца из кадушки поплескала воды в лицо; вечером, когда управились со скотиной, позвала курившего на крыльце Егора в кухню, рассказала о Перекатовой. Будто не про него. Марья перешла на крик. Он молча пожал плечами и вышел наружу, хлопнув калиткой. Марья почему-то сразу поду-

мала, что он пошел к Ленке, и затаилась, накинув теплый платок на плечи и прислушиваясь к улице.

Из школьного сада, где сделали танцплощадку, доносились резкие звуки духового оркестра. Еще неумелые, только учится пацанье. Марья с досадой слушала их из кухни, Егор Степанович, не видный Марье, сидел на лавке и тоже невольно вслушивался, припомнив на некоторое время, как сам когда-то мучил гармошку, да так и не домучил — мать отобрала: фальшивишь — не играй.

К Перекатовой не пошел, и так знал, что скажет она. А сказала бы Елена примерно так: «Мы с Марьей давние соперницы, она всегда надо мной брала верх. Вот пусть хоть разок повопит. Я и знала, что она тебе разыграет сцену. И знала, что ты придешь. Не повезло тебе, Степаныч, с бабами. Хочешь мальчишонку ведь? Марья меня щучкой зовет. А щучка ищет, где заводь густа, и хочется щучке тепла гнезда».

А он бы ответил:

«Давай людьми останемся, Елена...»

«Давай,— сказала бы она.— Только ты иногда хоть жалей меня, а?»

— Пожалеть-то оно не трудно,— сказал он вслух.— Да боюсь, себе дороже будет. «Ты уж решись от кого другого, а?»—закончил он про себя. Притушил папиросу о каблук полуботинка, вошел в дом.

Марья встретила его настороженным взглядом, коротко вздохнула и пошла в боковушку, где обычно спали приезжавшие на выходные Лиля с Галинкой.

Егор Степанович закрылся в спальне.

Потом он раскрыл рывком дверь боковушки и полураздетый сердито сказал отвернувшейся к стене Марье:

— Если ты не будешь мне верить, жизнь у нас пойдет никудышная. Оправдываться мне не в чем, а ходить выяснять, что наплетет какая-то баба, не буду.

Марья, пораздумав, оценила ответ, но на примирение в этот вечер не пошла.

Утром каждый молча взялся за свое дело, обедали тоже молча, к вечеру Марья заговорила.

А вскоре захлопотал дом Никитиных: стали готовиться к свадьбе. Рая написала, что приедет с женихом. Марья ахала, сокрушалась, что дочь молодая, Лиля успокаивала, рассказывала о Викторе.

Но особенно грустить не было времени, успевай разворачиваться. Родня съедется вся: и никитинская, и марьина, и егорова, да петровских сколько. Считай, надо

усадить за столы — человек сто. Марья схватилась за голову. Вечером собралась на малый совет петровская родня. Свадьбу, конечно, во дворе, под березами. Временные столы и скамейки сколотят. Двух баранчиков зарезать придется. В совхозе кой-чего выпишут. Обойдешься ли только водкой?

— Обойдемся,— сказала Марья строго.

— Это сколько ж вам ящиков надо?— со вздохом сказала сестра Анюта.

Долго ли коротко, с питьем и едой решили. Главным теперь стало другое — как справлять: по-новому, обычное застолье, или по-старому: девишник, с фатой, выкупом, с величанием невесты и жениха, свата и свахи, дружки, расплетанием косы, с песнями-пересмешками. Решили: по-старому, только без девишника.

Вскоре приехали молодые. Рая толстушка и неспешная, Виктор вокруг нее как стриж вьется, перезнакомился со всеми, за все берется. И с лица неплохой, и так, видать, душевный. Не курит.

Рая рассказала, как они отгуляли в Алма-Ате — по-студенчески, Марье понравилось.

Явились с сессии Лиля и Галинка, хохоту и разговоров, Виктор о горах, об альпинистах. Марья покачивала головой, старалась понять, ради чего ж это люди висят иногда на скалах на веревках.

Чем-то была озабочена Лиля, часто в себя уходила, улыбалась чему-то затаенному. Марья коротко спросила, сколько еще экзаменов осталось, как сдала. Две четверки получила, отмахнулась та. Непохоже что-то на нее. Может, влюбилась?

Но и Лилей некогда было заниматься. Дела подгоняли. Гости начали съезжаться. Несколько грузовиков заехало с заднего двора, мотоциклы и легковушки. Для начала разделились на жениховых друзей и невестиных. От жениховой родни старалась сестра Анюта — коноводила, от невестиной — сестра Егора Ульяна. Ульяна честила дружков жениха. Анюта отвечала. Спели по десятку, войдя в роль, пересмешек, уселись за столы.

Ульяна и Анюта, теперь объединившись, начали, а хор подхватил: «Думай, думай, Раюшка, думай да гадай», притихло застолье, бабы засморкались, мужики опустили голову, а глазевшие в щели забора ребятишки перестали шептаться.

Рая заплакала, Лиля с Галинкой смахивали слезы, а Марья уткнулась в плечо Егора Степановича и тоже дала

волю слезам: пелось о сиротстве, о тяжкой доле, о том, что «да не восстанет родной отец, да на свадьбушку горькую, проводить-то меня есть кому, да блаславить-то меня некому!»

И те же Ульяна и Анюта, принаряженные в крепжоржетовые платья, оглядев пристальным взглядом приунывшее застолье, вдруг весело начали, а хор завторил:

Душистая мята
В поле расцветает,
В поле расцветает,
Духи распускает.
А кто у нас холост,
Холост, неженатый?

А часа через два Ульяну и Анюту сменили дружки и повели песенное и танцевальное. Плясали перед молодыми: и цыганочку, и полечку, и вальсы, и фокстроты, и отдарили честь по чести, и пожеланий и советов — хоть в книгу записывай,— рассказывали потом бабы тем, кто не видел свадьбы. И тройки были с колокольцами, и гармошек две, да потом Миша-племянник с аккордеоном на мотоцикле прикатил. Веселья хватило.

Тщеславие, которое было у Марьи далеченько запрятано, но все же было, конечно, удовлетворилось.

Виктор сказал Рае:

— Каждое лето после гор будем к твоим приезжать.

Та ответила:

— Никогда не думала, что дом так захватит. Помню, года два назад сказала мамке: «Скучно вы тут живете». А она мне: «Скучно тому, кому делать нечего. Нам скучать некогда». Да жизнь у вас неинтересная, говорю. Она оперлась на тяпку, мы окучивали картошку, и говорит: «А неинтересно тому, у кого скука внутри сидит. Вот ты, Рая, нехотя, через силу, рубишь, и все слушаешь себя, где там что кольнуло, где ширнуло. А ты плюнь на то, что твои руки и спина не хотят. Да погляди назад — вон какое поле мы с тобой чистым оставили. Разве это не красота? Щерица полегла, картошка повеселела. Да и в любом деле так. Стол выскоблишь — полюбуйся, пеленочки перегладишь — опять тебе удовлетворение. Ты на задний двор не ходишь, носик воротишь — воняет. А не будет вонять на дворе — не будет пахнуть на столе». Ну, и в таком роде. Вы бы, говорит, без нашего неинтересного труда и в горы свои не влезли. Что ели бы? В общем, расчехвостила меня, и мы уж потом взялись наперегонки — кто кого. Конечно, она меня обогнала.

Галинка засмеялась.

— А знаешь, Рай, мы думали, что ты к нам уже ни одним корешочком не прирастешь. Что касается меня, то для меня мамка и дядя Егор — первые лекари. Вот ты говоришь, неинтересно они живут. А что это такое — интересный человек? По-моему, это увлеченный человек. Да, Лиль?

Лиля кивнула головой.

— А я,— сказала она,— даже и не представляю, что буду жить где-то, не здесь. Нет, я, конечно, могу жить в городе, но только в Омске, чтоб поближе к нашим.

Вчетвером они ушли в глубь леса, на поляну, там стояла развилистая береза — три ствола, как три кресла, изгибались и уходили ввысь. Галинка сидела на пне, вокруг которого вилась молодая осиновая поросль.

Лиля продолжала:

— Однажды мои семиклассники писали сочинение. О Родине. Кто-то сказал: «А как бы вы написали, Лилия Ивановна?» И я тоже стала писать. Сочинение заключила словами: «Мир огромен. И уезжая из какого-нибудь места, городка, города, ты все думаешь, что ты забыл что-то. Ничего не забыл. Просто оставил частичку своей души».

— Точно,— сказал Виктор,— ухожу с каждой вершины с чувством сожаления... и утешаю себя, что еще, возможно, вернусь...

— Странно,— продолжала Лиля с улыбкой,— где бы я ни была, мне везде хорошо. У меня такое чувство, что мир состоит только из хороших людей. Потом я вижу и хапуг, и бюрократов, и хамов, и пьяниц, но все это кажется преходящим. Хорошие люди потом долго вспоминаются. Но меня занимают не просто хорошие, а интересные. И их тоже много. Ребята, в следующее воскресенье я приеду со своим мужем,— неожиданно закончила она.

Девчонки ахнули, сорвались со своих мест.

— Только клятву: не говорить пока нашим.

И стала рассказывать. Но сестрам и Виктору она, конечно, не могла всего рассказать. А вот Дарье Александровне чуть позже описала все.

«Не выдержала. В первый же вечер передала записку за кулисы: «Дмитрий Евгеньевич, мы рады видеть вас и приглашаем на чай: жители домика над Омкой». Мне

хотелось говорить с ним, чтоб перестать о нем думать. Он надоел мне в снах.

Он пришел на другой вечер. Мы встретились. Нет, по порядку. Я не могла в этот вечер заниматься немецким. Убрала весь дом, вымыла полы, подмела дорожку, надела лучшее платье, распустила свои косы до пояса. Я была красивой в этот вечер, Дарья Александровна.

Часов около девяти позвонили. Я сорвалась с места. А открыла очень спокойно, даже не спросив. Он! Я подала ему руку, он мне. Прошли. Начали оживленно говорить. А глаза-то... глаза совсем иное говорили. Он тихо спросил: «Ты меня разлюбила?»—«Да, говорю, Митя, разлюбила».—«О, разлюбившая меня женщина!— пропел он на низких тонах.— Я рад, что это так,— начал он бодро.— Я все время чувствовал себя виноватым перед тобой, хотя винить вроде бы и не за что было...»—«Может, говорю, за то, что другим в это время клялись...»

Он глаза округлил. Я все рассказала, смотрю прямо ему в глаза. «Неужели ты поверила в эту чушь?»— спрашивает гневно. Я пожала плечами, сказала бодро:

«Ну, ладно, чего вспоминать, давай пить чай».

Потом было как в старой мелодраме. Я взяла гитару и запела «Темно-вишневую шаль». Дмитрий был удивлен, потом попросил спеть еще. Так я и пела ему всякие романсы и песни. Он качал головой, потом схватил меня на руки и закружил. Был порыв — прижаться к нему. Не стала. И как-то сделалось глухо-пусто на душе. Он опустил меня, я закрыла глаза и стояла, покачиваясь, натянуто улыбаясь.

«Ты обманула меня, Лиля»,— сказал он тихо.

«Мы оба врем, неизвестно для чего»,— сказала я.

«Да»,— подтвердил он.

И тогда начался у нас другой разговор, очень бестолковый и доверительный, со смехом и поцелуями, со слезами и упреками,— это я.

Дарья Александровна, вы можете не поверить. Он ночевал у меня.

Так мы стали мужем и женой. Вы горько усмехнетесь и скажете: называй вещи своими именами. Ты — любовница. Нет, жена. Вторая. Унизительно? Нисколько. Я его люблю. Ему со мной хорошо. Вы думаете, мы не ссоримся? Ого! Ему за его честолюбие достается. Он вспылит: девчонка! Я скажу: ну чего ты? Просто я стряхнула с тебя бронзовую пыль... или что-нибудь в этом роде,— он и отойдет. Вообще он считает, что честолюбие — это дви-

гатель. Я с ним согласна: в меру. Он фанатик в работе, тех, кто ленится хоть чуть-чуть, не признает. Я ведь тоже одержима в работе и в учебе. С ним нелегко. Но он поддается. Потом скажет: а ты ведь права...

Скоро закончится его отпуск. Он хочет остаться в Омске.

От мамы моей ему досталось. Она не выбирала особенно выражений. Он смиренно выслушал все, взял ее за руку, увел в боковушку и долго разговаривал. Помирились».

«Дарья Александровна, миленькая моя, прощайте. Я все равно жить не буду. Без Дмитрия я жить не буду. А он погиб. Утонул».

«Дарья Александровна, здравствуйте. Пишет вам Милуша по просьбе Лили. Ее спасли, но она в плохом состоянии. Отказывается от еды, лежит, отвернувшись к стенке. Или плачет. «Судьба меня наказала». Причем тут судьба? Между прочим, Людмила прислала такое письмо, узнав о смерти Дмитрия! Эта женщина во всем винит Лилю. Не доглядела, мол. В чем вина Лили? Только в том, что она по-девчоночьи, не думая, пошла за своим чувством. Но ведь чувство было взаимным.

Я, Дарья Александровна, за то, что жить из жалости можно. Тогда, когда есть дети. А Людмила, как известно, так и не родила.

Вот чуть полегчает нашей Лильке, я отдам ей это письмо. Она ведь уксусом... Галинка выбила стакан. Но глотка два успела сделать. Напереживались мы все.

А как было с Дмитрием? А вот как было. Он все посмеивался, что родни у него теперь целые колхозы. Вот взяли они Мишку и поехали куда-то по Иртышу. Погода стояла отличная. Обрывчик. Дмитрию захотелось понырять.

Лиля говорит, что надо дно проверить, нет ли чего. Он понырял, ничего как будто не увидел, не нащупал. Лиля с Мишкой да еще ребятишки на берегу сели, смотрят, как он будет с обрывчика нырять. Тот нырнул, да и нету. Ребятишки восхищаются: во дает дятя Митя! Лиля встревожилась: что-то долго под водой. Ребятишки поплыли к тому месту — на Иртыше ведь все выросли. Лиля разделась да следом. Все и нашли его... Он наткнулся на старую корягу. Вот и поездил по новой родне...»

Милуша оторвалась от письма, выглянула в окно.

Рыжий Пушок колокольцем заливался у ворот. Его уговаривала, делая шаги вперед, Дарья Александровна. Она была в рыжей кепочке и в рыжем плаще, с желтой дорожной сумкой. Пушок отступал, но заливался сильнее. Милуша выскочила во двор.

— Нет, Дарья Александровна, никуда я не уеду. Тут могила Дмитрия. Я переведусь в Петровку. Совхоз укрупняется. Начнут новую школу строить. А мир, конечно, большой... Я буду ездить, смотреть. На тот год сдам за второй курс и в отпуск поеду к вам. Через Москву. Очень хочу в Москву. Спасибо вам,— Лиля обняла отъезжавшую.— Передайте привет вашему Льву Михалычу. Вы нашли, слава богу, личное счастье.

— Да,— Дарья Александровна внимательно смотрела своими большими серыми глазами в черных ресницах в бледное лицо худенькой Лили.— Но ты помни, что у меня было в десять раз больше причин уже не жить на свете. У тебя была любовь, короткое счастье, у тебя осталась молодость. Твое добро — Сердце. И любовь твоя с тобой. Ну, дитенок мой!..— она улыбнулась ободряюще. Лиля кинулась ей на грудь.

Из деревни показалась двуколка. Егор Степанович торопил лошадь. Дарья Александровна поправила свою походную кепочку.

Егор Степанович молодцевато остановил лошадь, живо соскочил и усадил отъезжавшую гостью. Пыль медленно сносил ветерок. Лиля через лес пошла к кладбищу.

ЛЮБОВЬ ОДНА

Прошло три года. Лиля закончила пединститут и в это лето никуда не собиралась ехать. Рая с Виктором пропадали в горах. Галинка в этот год закончила педучилище и на радостях отправилась повидать мир. А именно: Алма-Ату и тетю.

Однажды Лиля поехала на велосипеде к Милуше. Та растолстела после рождения дочери, но по-прежнему была веселой и говорливой. Крестницы дома не было — гостила в городе у бабушки. Как всегда, Милуша не успевала по дому, как всегда, Лиля принялась за уборку. Вымыв полы, села с книгой.

За окном раздался треск мотоцикла. Стих. Вошел невысокий парень. В военной форме. В военном плаще. Остановился на пороге, спросил, здесь ли живет начальник участка. Был он худощав, светловолос. Светлокарие глаза в полукружье длинных густых ресниц смотрели спокойно и прямо.

В первую минуту вошедший и Лиля разглядывали друг друга, а потом разом кинулись навстречу. Это был Володя Лозинский, когда-то влюбленный в девчонку Лильку. Не виделись они около девяти лет и теперь не отрывали глаз друг от друга, смеялись и качали головами, перебивая вопросы восклицаниями, и снова смеялись.

— Давай поцелуемся,— сказал он весело.

— Давай,— улыбнулась она.

Он обхватил ее руками и, целуя, приговаривал:

— За каждый год поцелуй, поцелуйчик, поцелуище...

— Володя,— отбивалась она,— сумасшедший... Зачем ты меня нашел?

— Хочу тебе сделать предложение.

— Господи, какое?

— Холостой двадцатичетырехлетний лейтенант, с девятилетней неразделенной любовью... предлагает тебе руку и сердце...

— Ой, Володя,— отступила она с усмешкой.— Все такой же... Садись, рассказывай, что ты, где и как...

Два часа пролетели... Он спохватился:

— Послушай, Лиля, проводи меня. Надо же найти мне начальника участка.

— Провожу,— согласилась она.

— Ты поможешь набрать мне ягод?— спросил он.— Мама просит.

— Помогу,— согласилась она.

— Я приеду завтра,— сказал он, глядя ей неотрывно в глаза.

— Я буду здесь,— сказала она.

— Может, ты прокатишься со мной немного?— спросил он.

— Пожалуй,— сказала она. И села на мотоцикл сзади.

Проехали полкилометра. Солнце садилось, освещая затухающие зеленые поляны. Где-то мычала отставшая от стада корова. Потом, когда остановились, только едва внятно доносился шум поселка.

— Вечер хороший, а?— спросил он.

— Да,— ответила она.

— Походим по лесу,— предложил он. Она молча кивнула головой. Он закатил мотоцикл в кусты. Походили, не говоря ни о чем. Он расстелил плащ, сели, отмахиваясь от зудевших комаров.

— Лиля,— сказал он.— Когда-то я не осмелился высказать тебе своих чувств, думаю, девять лет достаточно, чтоб доказать их серьезность. Я слышал о твоем замужестве, о твоем несчастье, слышал, что к тебе сватаются без конца... Рассказал мне все Владимир Федорович... недавно. Выходи за меня. Холостяцкая военная жизнь прискучила. Я веселый человек, тебе не будет скучно со мной. И я же люблю тебя,— он уткнулся ей в плечо.

— Володя,— сказала она с печальной усмешкой,— это так неожиданно. Дай мне привыкнуть к тебе. Не торопи меня.

— Я, наверно, десятки раз принимался за письмо. И каждый раз рвал. Думал: почему она так поступила, почему ничего не сказала? Мальчишеская гордость заставляла страдать молча. Искал девчонок. Похожих на тебя. И не находил.

— Ну, и какою же ты рисовал меня, Володя?— спросила с доброй улыбкой, которую он угадал в полутьме.

— Единственной и неповторимой,— сказал он быстро.

— А если бы я во второй раз влюбилась? Почему ты так уверенно ехал?

— Не знаю,— сказал он, по-детски потершись головой о ее плечо.— Что-то говорило, что ты не оттолкнешь меня...

Комары порядком надоели, и пришлось выбраться на дорогу. Простились до завтра.

Прошло семь дней. Возвращаясь вечером с поля, Лиля зашла в сарай, где отчим отбивал косу, и попросила наточить тяпку. Запах свежих стружек мешался с солидоловым. Егор Степанович совсем недавно чинил колесо. Он отложил литовку, сигарету переместил в угол рта и, прищурясь, опробовал большим пальцем лезвие тяпки.

— Зазубрила,— сказал без упрека.

— Под лесом корешков много, рубишь, рубишь...

— Наточу. Сначала отбить надо,— и поставил в угол.— Завтра раненько, как встану. Ну, как работа?

Не устаешь? Мать с ногой, знать, с неделю прохромает.

Придвинул скамеечку. Лиля села. Егор Степанович, видимо, хотел поговорить.

— Устаю, как и все,— дружелюбно сказала она, глядя на него. У отчима на лбу резкие продольные морщины. Блинком матерчатая фуражка.

— А к тебе сегодня какой-то военный приезжал,— сказал он, чуть улыбаясь.

— Когда?— встрепенулась она.

— Недавно. Говорил, еще раз заедет. В лесничестве он, што ль... за ягодами.

— А что говорил?— осторожно спросила она.

— Да ничего особого. Спросил, где ты, когда придешь. Ну, покурили, постояли. Что-то он волновался, скрытно так. Давал папиросу — пальцы дрожат.

Лиля смущенно улыбнулась.

— Давно ты с ним знаешься?— осторожно спросил он.

— Вообще давно. Учились в школе. Он на год старше меня. А так недавно. А что?

— Да так. Я к тому, серьезное у вас знакомство или шапошное...

— Серьезное,— ответила она без улыбки.

Егор Степанович затянулся несколько раз и выбросил окурок в шайку с водой.

— Ну если серьезное, другое дело. А то парень подходящий...

— Егор Степанович,— расхохоталась Лиля,— когда вы мне перестанете искать женихов? Я ж сказала, что замуж не пойду до тех пор, пока не полюблю сама.

— Оно, конечно, так. Но и не так. Мы с матерью считаем, что нечего тебе в деревне вдовой оставаться. Лиля, все хвалят твой голос, может, ты б в музыкальное пошла. Мы бы помогли материально. Все-таки жизнь получшела...

Лиля молчала.

— А за этого, военного...

— Этот военный сделал мне предложение,— перебила она его и обняла.— Только мне надо привыкнуть к нему. Может, зимой я перееду к нему в Забайкалье...

— Парень симпатичный,— обрадовался Егор Степанович,— не разбалованный, видно. Я вот что скажу, дочка... Если хороший человек, ты его со временем полюбишь. Ведь сказать тебе, дело прошлое, мать твоя не так

уж и любила меня. Я это знал. Я не хочу сказать, что я занял полностью место отца твоего, Ивана... Но живем мы дружно, ссор про меж нас почти не бывает. Это она, порох-пых, пых... Да ведь отходчива, незлобива, глядь, и смеется уж сама. А если этот парень стоящий, не упускай его...

— Спасибо,— сказала она.

— Спасибо будет потом, когда тяпку наточу,— перевел он разговор на другое.

Лиля пошла мыться. Из бачка бежала степлившаяся вода, разлеталась блестящими брызгами, сверкающие струйки били по телу. Лиля потихоньку напевала: «Парень симпатичный, парень симпатичный, парень не столичный, а все же ничего». Освеженная, стала растапливать в сенцах летнюю печь, готовить ужин.

Встретила за воротами корову, села доить, вслушиваясь, не затрещит ли мотоцикл.

Он затарахтел, когда она, поставив молоко в погребе, вылазила оттуда с пустой доенкой.

Егор Степанович вышел навстречу гостю, перехватил его вспыхнувший взгляд, крякнул про себя: «Видать, парень не на шутку влюбился».

Лиля подала руку, радостно сказала: «Я сейчас»,— и быстро, на ходу снимая фартук, прошла в дом. Осмотрелась, все ли прибрано, вышла на крыльцо.

— Проходи, Володя!..

Егор Степанович провел гостя до крыльца, прикрыл за ним дверь, стал убирать по двору.

Они прошли в дальнюю комнату, Володя осмотрелся, сказал: «Хорошо у вас», похлопал себя по карманам, ища папиросы. Потом передумал. Посидел, молча глядя ей в лицо. Подошел к ней:

— Можно, я тебя поцелую?

И по тому, как он припал к ней, она поняла, что он соскучился, и торопливо поцеловала его в ответ. Потом они сидели чинно друг против друга, на случай, если кто войдет. С полчаса говорили, послышались шаги с постукиванием — входила мать с палочкой.

Марья Ивановна поздоровалась, дочь познакомила с нею покрасневшего Володю. Мать начала расспрашивать, откуда молодой человек и надолго ли сюда. Узнав, что через неделю уезжает на службу, вопросительно взглянула на дочь, но та ничего не ответила и пригласила гостя к столу. Будущий зять рассказывал, как живут военные и их жены, рассказывал анекдоты и насмешил

всех до слез. Егор Степанович засиделся с молодым человеком до двух часов ночи и выяснил все его позиции. Утром все поведал Марье.

Володя уехал в город, пообещав вернуться завтра, а Лиля не пошла на поле и принялась убираться по дому. Убравшись, села за стол и стала смотреть в окно. Ветер кокетливо играл с шиповником, тот кокетливо изгибался. Улыбнулась. И опять ушла в свое, грустно-тянучее. Прошел час. Быстро поднялась, заперла дом. Ветер почти утих. Спускаясь с крыльца, заметила из-под завалинки два вылезших клененочка. Шевелили листком, как котенок лапкой — раз, раз. Какое-то умиление нашло на нее, просветлела.

Шла тропинкой в пшенице, жадно вглядываясь в поля, где разливался зеленый цвет, решительно прибавивший себе других тонов: желтоватого, бледного и салатно-блескучего.

Среди перелесков, посреди поля, стояла березовая роща с кладбищем. Знала, что, если она решится выйти замуж, еще не раз придет сюда до зимы, и все-таки сегодня потянуло так, что не прийти было нельзя.

Частые кресты... Здесь деды и бабушки, двое дядей, отец и Дмитрий. Безродный ты мой человек... Любимый ты мой...

Села на край могилы. С голубой тумбочки весело улыбался Дмитрий. Упала на холмик, зарыдала в голос. Постепенно успокаивалась. Снова села, поправила прическу, бездумно покачивалась. Тихо. Где-то фыркает лошадь, воровато стрекочет сорока. Говорила тихонько, то с отцом, то с Дмитрием. Часа через два пошла той же тропинкой назад.

Милуша с мужем ужинали, обрадовались гостям.

Проговорили до полуночи. Летние вечера в Сибири кончаются в полночь.

Милуша вышла в сенцы. Выслушала длинную исповедь подруги, задумчиво сказала:

— Конечно, Лиля, лучше уехать... Так ты и будешь, что ли, одна? Вовка — парень мировой, привыкнешь и полюбишь.

— Да,— сказала Лиля,— мне говорила Дарья Александровна, знаешь, что? Любовь бывает один раз. Она бесконечна. Она моя. Она может прерваться. А потом возобновиться. Но это будет любовь единственная,

С Володей у нас много общего оказалось. Мы как-то стали говорить, почему создавались интернациональные бригады. И тут выяснилось, что мы примерно прошли одинаковые переживания. Когда в пятьдесят втором в марте расстреляли Никоса Белоянниса, я ревела. От злости и беспомощности. Володя не ревел, он его фотографию, где Никос с гвоздикой, приклеил у себя в записной книжке.

Когда закончилась война в Корее, я плакала от радости. А Володя, оказывается, рвался добровольцем.

А когда началась агрессия в Египте, когда начали зверствовать англичане, я писала заявление о посылке меня туда, на помощь. Володя тоже обсуждал с товарищами такой вариант.

— Значит,— сказала Милуша,— если б теперь создавались интернациональные бригады, вы бы там встретились?

— Точно,— рассмеялась Лиля.

— А потом,— продолжала она,— он настоящий мужчина. Устойчивый такой.

— Господи, хоть бы тебе повезло,— воскликнула Милуша и задумчиво сказала:— Как ты смотришь, Лиль, если я заочно кончу педагогическое?

— Еще спрашивает!..— Лиля обняла подругу.— А Иван?

— Ваня тоже хочет, только в сельскохозяйственный...

— Молодцы!..— обрадовалась Лиля и добавила:

— Пошли спать, Милушенька. Хорошо отпускникам, а вам-то завтра коровок в поле выгонять, молоко перегонять, творог отваривать... впрочем, половину работы можешь оставить мне... поработаем с женихом, рассмотрю его в сельском хозяйстве...

Отъехал мотоцикл с Володей и Лилей. Улеглась пыль.

С хохотом забежала соседка.

— Ой, не могу! Тетя Маруся, дядя Егор! Ну видели вы таких, как эти Ермаковы, что век прожили?

Вчера получили посылку. с Камчатки от Васьки...— она залилась смехом.— Так что они сделали? Они, оказывается, сроду икры не ели. Попробовали и выбросили.

Сегодня зовут меня письмо писать. Диктуют: «Спасибо, сынок, за посылку, а вот варенье пропахло рыбой — мы его выбросили. А сама рыбка очень вкусная».

Засмеялись все трое.

— Эй, товарищи!— раздался веселый Галькин голос.— Помогите!— она шла огородами, с большака, с рюкзаком и чемоданами.

Егор Степанович резво кинулся к дочери.

— Ну вот,— говорил он, забирая чемоданы,— наконец-то... А мать плакала; сердце что-то ей вещует. Сказала б, что жалко будущего зятя отпускать. Проводили — полетит завтра в Читу. Лиля провожать поехала.

Галька охнула, но ничего не поняла. Конопатый носик ее, обшелушенный солнцем, сморщился, но она вдруг сообразила, что завтра успеет в аэропорт, и уже весело поцеловала мать, соседку, раскрыла рюкзак с яблоками, стала угощать.

— Нагостилась?— спросила Дуся, нюхая яблоко.— Хорошая у вас тетка. Ох, и запах! Почем они там сейчас? И весь город в садах? Вот язви их, живут! Ну, ладно, Галь, пока. К нам заскакивай. А то моя Ленка без тебя не может в лес ходить. Скукота без Гальки, говорит. Ох, Галь, ты ж теперь Ивановна! Все забываю!..

Утром Галинка разыскала сестру и Володю в аэропорту. До отлета оставалось полчаса. Володю кто-то окликнул. Оказалось, сослуживец. Приехал в отпуск. Сестры отошли в сторону. Улыбнулись друг другу.

— Славный он, Лиль. Понравился.

Галинка была небольшого росточка, но крепкая и живая. Рыжеватые кудри вились вольно над ее крепкими плечами, голубоватые глаза весело глядели на милом конопатеньком лице. Она была похожа на старших только своей рыжинкой.

— Ну, пошли,— весело сказала она сестре,— а то уж проглядел милый свои глазоньки. Чертовски мил Володенька!— Лиля обняла сестру за плечи.

— У Раиски тоже Викторушка ничего... Можно сказать, что вам с ней повезло... Кто-то мне встретится на моем жизненном пути?— говорила Галинка напевно.

— Вы теперь куда?— спросил Володя тихо, глядя погрустневшими глазами на сестер.

— Мы, естественно, к родне,— ответила Галинка.— А что вы так смотрите на меня, Володя?

— Взгляд похож на Лилин,— улыбнулся он.— Ну что, пора прощаться? Посадка началась.

Обе сестры подали руку. Он обнял их обеих и чмокнул в щеки.

Самолет скрылся.

— Что-то невесело тебе, Лиля,— сказала Галинка.

— Невесело,— согласилась та.— Пожалуй, мне надо было улететь с ним...

— Боишься передумать?— ахнула младшая.

— Боюсь,— призналась та.

Галинка посвистела раздумчиво и стала всматриваться, не идет ли автобус.

Темным октябрьским вечером с улиц Петровки доносились оживленные голоса. Только что в последних известиях радио сообщило, как будет пролетать первый спутник. Лиля торопливо накидывала пальто, оторвавшись от проверки тетрадей и посмотрев на часы. Голоса усилились, когда показалась на горизонте маленькая звездочка, и смолкли, когда она стала приближаться. Проводив глазами бесшумную звездочку, стали расходиться, оживленно переговариваясь.

Лиля прошлась вдоль забора и остановилась, услышав звуки мотоцикла, тарахтевшего по дороге за лесом. Почему ей пришло в голову, что это мог бы мчаться Володя? Она усмехнулась, сама над собой, но все-таки со странным волнением ждала приближения.

Мотоцикл замедлил ход и завернул к их дому. Перед воротами приехавший заглушил его и быстро соскочил с сиденья. В темноте оступился и чертыхнулся.

— Мишуля!— крикнула она, осторожно выдвигаясь из-за куста сирени.

Он радостно повернулся на голос.

— Откуда ты?— кинулась она к нему.

— Да вот заехать решил, да мотоцикл сломался, провозился в дороге,— забасил племянник.— Мне ведь скоро в армию, думаю, поеду по родне — попрощаюсь, повидаюсь, приглашу...

— Ну, закатывай,— говорила она.— Сейчас ворота отопру...

И пока отпирала ворота и унимала Пушка, раздумывала над тем, как неожиданно вообразила себе приезд Володи. Но оттого, что ей не захотелось его видеть, удивилась и огорчилась.

«Черт тебя знает, Лилька, что ты за человек,— ругала она себя раздраженно.— Где здравый смысл, где житейская мудрость... Какого тебе еще парня надо?»

Сначала робко второй голос стал доказывать перво-

му, что вот и хорошо, что она не идет на поводу расхожего «стерпится-слюбится», и уж лучше оставаться вековухой, чем жить не любя.

Но ведь было же это — потянулась, писала письма, правда, без эмоций, но охотно.

— Вот и плохо, что без эмоций,— сказал второй голос.

— Но как же быть?— растерянно спросил первый.

— Написать новое письмо,— ответил второй,— и не морочить голову человеку.

И пока ужинали, все ловила себя на том, что она страшно растеряна и что надо пока подождать — не писать.

Галинка увела Михаила в боковушку, сказав, что им надо еще о многом потолковать, Лиля ушла к себе, в пристроенную третью комнатку, включила приемник.

Музыка. Торопливые, тревожные звуки и громкие, как удары, вторы... Раскат успокаивающих... И снова первые — и снова успокоительно-мягкие.

— Господи, что это такое?— тихо спросила она, вся подавшись к приемнику, чувствуя, как в этой незнакомой мелодии сейчас передается все ее сумбурное состояние.

Вот будто наступило успокоение. Человек ушел в себя, в свое прошлое, пережитое, отгоревшее — оно уже и не кажется таким отчаянным. Вот совсем просветлело... убаюкало... Но жизнь бежит бурно, перемежаясь с плохим и хорошим, захлестывают чувства — и звуки торопливо-тревожные и вторы громкие, как удары...

Все перепуталось! Звуки, отрывисто-отчаянные, оборвались резко, на тревожных нотах...

Диктор объявил, что они передавали «Скерцо № 2» Шопена.

— Господи, ничего-то я еще не знаю,— сказала она вслух. А на память пришли стихи А. Толстого: «Набегает жизни новой торжествующий прилив... И звучит свежо и юно новых сил могучий строй...» И хотя Лиля была не в поле, и за окном стоял октябрь, а в небольшой ее комнатке было сумеречно от ночника, и она разбирала постель, осторожно складывая накидушку, будто расправляла складки фаты, с удовольствием повторила: «Как натянутые струны между небом и землей!»

И собираясь спать, вздохнула облегченно, оттого что приняла решение. Напишет письмо Володе, и он поймет...

ЖИЛ-БЫЛ АКТЕР



Я чувствую себя легко у людского жилья, там, где народ, где слышны голоса, где пахнет дымом очагов, где строят, борются и любят...

М. КОЛЬЦОВ

ОТ АВТОРА

Было это в далеком детстве. Какой фильм смотрела — забыла, Но один момент помнила. На пороге немецкого штаба возникает фигура в белом. Партизан. Его огромные глаза. Тяжелый, полный ненависти взгляд. Казалось, само возмездие стоит на пороге. Для меня все партизаны олицетворялись в этой фигуре.

Позднее посмотрела снова этот фильм. Он назывался «Жди меня». Узнала и фамилию актера — Блинов. Стала ждать, когда же он появится в новых картинах. А он не появлялся. Через много лет узнала, что он умер в нашем городе. Давно. В сорок третьем. И стало как-то грустно, будто он обманул мои ожидания. Потом захотелось отыскать его могилу.

Была ранняя весна. Подтаивало. Рядом с конторой старого кладбища пилили дрова женщины. Спросила у них. Нет, не знают. Посоветовали найти директора. Нашли. Повел. Директор старый, грузный, хлопот у него много здесь, у последнего пристанища людей. Пошла с нами и одна из женщин.

Могилка надвинулась как-то сразу. Старая, военных лет, оградка. На тумбочке со звездой неумелой рукой надпись: «Б. В. Блинов, исполнитель роли Фурманова в фильме «Чапаев». Ни деревца, ни цветка.

— Ой,— сказала женщина,— как же я забыла? Я столько раз ее красила.

— Нельзя забывать,— сказал с укором директор,— надо помнить таких людей.

Рядом была другая, с такой же оградой, с камнем, на котором тоже неумело вывели: «Лауреат Сталинской премии Николай Петрович Черкасов (Сергеев)». Сергеев играл Суворова в одноименном фильме.

Я чему-то радовалась. Радовалась, что старик директор все эти годы хранил, как умел, могилки, помнил многие фильмы, где когда-то снимались эти актеры. Потом на машине провез меня «к могиле одной красивой дамы»— Софьи Магарилл.

Но почему директор заботился о них, а никто другой за столько лет не навестил? Софьина могила вообще заброшенная, на поржавевшей железной табличке с трудом разберешь: «Артистка кино С. З. Магарилл».

Я написала два письма — одно в газету, другое — в комитет кинематографии. Первый вопрос, который, как правило, мне задавали: кто я им?

А один товарищ сказал так:

— О ком вы собственно пишете? Наша газета таких материалов не помещает. Таких, как они, сейчас тысячи...

Подумалось: и Блинов, и Черкасов (Сергеев), и Магарилл, и Новосельцев были единственными в своем роде. Раз фильмы с их участием идут до сих пор, значит, люди должны помнить о них...

— Подумаешь, пошла ухаживать за больными...— это он о Софье, которая пошла к Блинову, после того как жена его свалилась в сыпняке,— таких примеров тысячи...

И тут вспомнишь, что у Софьи был сын, что она была одной из самых красивых актрис, что ее умолял муж, что она заведомо рисковала, отправляясь в палату к тифозному — все-таки пошла. А через месяц умерла, заразившись.

Бывалый и много видавший товарищ меня не убедил, и время от времени я продолжала напоминать через всяких лиц, что надо хоть небольшие памятники поставить...

Это наконец сделали.

Одновременно я стала узнавать, не пишет ли кто о Блинове. Стала собирать материал. Более полный ответ дал мне Л. А. Парфенов — киновед. Это он после долгих лет забвения написал статью о Б. В. Блинове в журнал «Советский экран».

А я написала письмо одному любимому актеру, зная, что когда-то он с Блиновым работал в Ленинградском ТЮЗе. Получаю ответ:

«Товарищ Поведенок,

я, как и вы, полон уважения к памяти о Б. В. Блинове и рад был бы, если бы была создана книга о нем.

Но вы хотите от меня слишком многого. Уж если бы я писал о Б. В., то это была бы моя статья и я отдал бы ее в сборник, посвященный его памяти.

Но почему мое сочинение д. б. издано под Вашей фамилией?..

Дэль, слава богу, жив и работает в Ленинградском театре им. Комиссаржевской.

И, наконец, относительно могилы Магарилл — я думаю, что Вам следует написать прямо председателю Комитета по кинематографии (адрес) тов. Ермашу. Вы очевидец, и ваше слово будет гораздо убедительнее, чем мой пересказ Вашего письма.

Желаю успехов.

(Подпись)»

Первая моя просьба о том, чтобы поделиться воспоминаниями, кончилась вот так...

Прошло года три. Обида моя поугасла. Я поехала в Москву. Ду-

маю, может, мы не поняли что-то в письмах друг к другу. В разговоре-то оно ясней. Звоню. Так и говорю. В ответ: «Хорошо, давайте встретимся». Правда, встретиться из-за его занятости мы не смогли, но по телефону говорили.

Следующее письмо Дэлю. Дэль — это Л. С. Любашевский. Актер, сыгравший роль Свердлова в одноименном фильме. А Дэль — псевдоним драматурга. Потому что он еще и пьесы писал, и сценарии.

Вот его первое письмо.

«Уважаемая Надежда!

(не знаю отчества).

Самый верный ход к книге, если бы согласился взять ее в свои руки Сергей Львович Цимбал. Он все знает по издательскому делу и по тем людям, которые могли бы дать свои статьи или мемуары о Борисе.

(Адрес Цимбала). Позвоните ему. Напишите. М. б., он возьмется.

Что до меня, то я организатор абсолютно никчемный. Статью о Борисе — пожалуйста. И больше ничем я вам помочь не могу, увы.

Лучшие пожелания в этом благороднейшем деле.

Л. Любашевский».

Пишу С. Л. Цимбалу. Ответа нет.

Получаю второе письмо от Любашевского.

Советует связаться с изд. «Искусство». Пишет:

«Очень важно, чтобы издательство в принципе одобрило эту книгу».

Из издательства ответили: «Редакционные портфели забиты».

Но неужто выигрывали только генералы? Неужели надо писать только о народных и лауреатах?

Забегая вперед, скажу, что все время, пока я собирала материалы о Борисе Блинове, меня очень поддерживали дружеские письма и открытки Л. С. Любашевского. Вот одно из таких писем:

«Уважаемая Надежда Георгиевна!

Получил ваше письмо не скоро. Раз в неделю я бываю в городе.

Очень рад, что вы полюбили Бориса как ЖИВОГО. Я сам тоже, пока не налажу милых отношений с моими героями, пока они не сидят у меня в комнате, ожидая меня, не могу их еще писать.

Попробую ответить на ваш вопрос, как «собирался» Борис перед выходом на сцену, в любой, кстати роли.

НИКАК. Я не видел никогда, чтобы он каким-то своим способом — настраивался перед выходом.

Переступив порог сцены, он сразу становился тем, кого играл.

Мгновенно. Единственное, чего не терпел, это когда поклонницы встречали его аплодисментами.

Иногда он нарушал даже точность своего появления на выходе.

Он вообще был озорной мужик.

Чудо-самородок и как-то сразу — профессионал. Чувство правды было неотъемлемым даром его очень своеобразного, неожиданного таланта.

Чуточку я пожалел, что в вашем произведении он не будет называться Борисом. Измените ему отчество, фамилию, но сохраните имя, пожалуйста.

Кланяюсь вам и желаю от души успеха в трудах и любви к Борису милому.

Л. Любашевский».

В Алма-Ате был фестиваль кинофильмов. Я созвонилась с П. П. Кадочниковым. Он сказал: «Приезжайте лучше в Ленинград».

И я поехала в Ленинград.

Встречи с людьми — это всегда самое интересное. Встреча с ленинградцами — особенно.

На «Ленфильме», в библиотеке им. Луначарского, в ТЮЗе — везде были со мной предупредительны, давали адреса, телефоны, помогали отыскать журналы, где были рецензии на работы Блинова.

Д. П. Иванеев, Р. И. Котович, Е. И. Уварова, Т. Г. Сойникова, Л. С. Любашевский, П. П. Кадочников, Н. Г. Блинова — это далеко не все, кому я признательна в Ленинграде. А в Москве мне помогали старшая сестра Блинова М. В. Богодарова, В. В. Серова, К. В. Пугачева, Г. С. Жженов.

Самое поразительное было вот что. Прошло сорок с лишним лет, как Борис Блинов играл на сцене, а они помнят — даже одежду его, реплики, тон...

Старая, больная, едва поднявшаяся с постели Т. Г. Сойникова (рядом с ней лежала кислородная подушка) нашла в себе силы и целый час рассказывала о Борисе. Я тогда подумала: «Режиссер, преподаватель, столько актеров прошло рядом с ней... А Бориса видит, как сейчас».

Через два месяца я получила письмо от Н. Г. Блиновой, где она писала, что Татьяна Григорьевна умерла.

Когда я пишу о ком-нибудь, я просто влюбляюсь в своего героя, и тогда все близкие его становятся тоже близкими мне. Итак, мыслями я уже который год в Ленинграде. Среди друзей и родных Бориса Владимировича Блинова.

Вагановы — друзья его. Виктор Михайлович, директор энергетического техникума, его старый школьный товарищ и охотник. Ирина Сергеевна, его жена, нашла фотографии, рисунки...

Екатерина Владимировна — сестра Бориса. Ее я отыскала за тридевять земель: ехала на двух электричках, автобусом, шла пешком. Нашла у озера Отрадного, на даче,— больно писать, что ее уже нет.

Встреча с Любашевским. Нашла я его в Репино, в доме отдыха.

На другой день восьмидесятилетний Леонид Соломонович приехал в Ленинград, чтоб отдать фотографии Блинова. Удивительно был открытый, добрый, умный человек...

Кадочников гостил в Чехословакии. Пока его не было, мне деятельно помогала его жена Розалия Ивановна. Вернулся в тот день, когда мне надо было уезжать в Москву.

Павел Петрович — изумительный рассказчик. Борис Блинов предстал передо мной со всеми интонациями его персонажей. И не только Блинов. И Борис Андреев, и Алейников, и Чирков, и Зон, и Вертинский...

Я ходила, ездила по Ленинграду, и мне уже не казалось, что Борис Блинов забыт.

Так я начала писать о нем, талантливом актере, человеке широкой души, человеке абсолютной правды. Начала писать поздно, когда умерли хорошо знавшие его Б. В. Зон, Е. И. Чарушин, Н. К. Черкасов, братья Васильевы, С. Столяров и др.

Я хочу воскресить память о нем, заслуженном артисте, орденоносце, сыгравшем роль Фурманова в «Чапаеве», матроса Бублика в «Волочаевских днях», летчика Ермолова в «Жди меня», снимавшемся во многих других фильмах, доныне идущих на наших экранах.

Считаю свою повесть далеко неоконченной. Надеюсь, что еще найдутся люди, которые знали, помнят Блинова. Прочитав повесть, они, возможно, откликнутся письмом.

Вот получила письмо от Е. Б. Фирсовой, актрисы Нового ТЮЗа:

«Помню, как в Новосибирске Зон прочитал нам телеграмму о смерти Блинова, отвернулся и заплакал. Он очень любил его как артиста и говорил, что это — сама наглядная система Станиславского.

Действительно, он на редкость умел на сцене жить по правде. Он был удивительным партнером, с ним нельзя было лгать, переигрывать. Какая разница была в его взгляде Мизгиря — горячий, влюбленный, нетерпеливый в сцене обряда, и — холодный, раздражательный, почти ненавидящий — после встречи со Снегурочкой. Меня эта встреча потрясла, и порой казалось, что он чувствовал неприязнь ко мне лично, к артистке Фирсовой. Раз я ему об этом сказала: «Ты за что меня так возненавидел, плохо играла?» Он рассмеялся: «Дурочка, наоборот, хорошо»,— схватил меня на руки и подбросил — он был силен.

В «Борисе Годунове» небольшая сцена с детьми. Я всегда по-настоящему целовала ему руку и по-настоящему плакала в сцене смерти. Так он был правдоподобен, любящий, нежный отец».

Еще несколько приятных неожиданностей. В Ленинграде во второй свой приезд я встретилась с народным артистом республики В. В. Усковым и Л. В. Шостаком — товарищами Блинова. Константин Павлович Кадочников познакомил меня с Ниной Андреевной Ти-

товой. Все они существенно дополнили своими рассказами мое представление о Блинове.

И последнее знакомство со второй женой Бориса Владимировича — Юлией Николаевной Шемякиной, человеком очень обаятельным, отзывчивым, которая поведала о нем столько светлого, теплого.

«Мне бы хотелось рассказать вам щедро, все до капельки, чтобы ничего о Борисе, что я знаю хорошего, не ушло в землю со мной.

Пусть о нем знают больше и пусть его любят люди».

Наши мысли оказались сходными.

Итак, я начинаю свою повесть о Борисе Блинове.

Глава первая

— Не верю!— кричал голосом Станиславского Владимир Петрович Чеснаков.— Ни вам, Володя, ни вам, Борис!

Актеры виновато смотрели друг на друга, потом на режиссера, балетмейстера, ждали пояснений, переминаясь.

— Нет радости встречи! Нет! Ни у капитана, ни у боцмана!— он вскакивал со своего режиссерского места и бежал на сцену. Объяснял, поворачиваясь то к темноглазому худому Ускову, то к большеглазому плечистому Блинову, раскидывал руки и порой напирал грудью.

— Начнем!— он снова бежал на свое режиссерское место.

Блинов в шелковой тенниске и в белых парусиновых брюках клешем, раскачиваясь, Усков — тоже валковато — расходились по обе стороны сцены.

— Начали! Пошли! Текст потом! Сначала узнавание... Не верю!— ладонь его описала в воздухе негодующую дугу.

Репетиция приостановилась.

— Вот что,— после некоторой паузы решительно сказал он.— Идите в ДЛТ, там потеряйтесь, поищите друг друга, потом поймете радость встречи.

— Владимир Петрович,— пробасил Блинов,— а может, мы два часа будем искать друг друга? Вы бы нам пятерочку ссудили...

Усков скромно молчал, только карие смешливые глаза чуть заблестели.

— Пожалуйста,— Чеснаков подал деньги, двое оживленно пошли за кулисы к выходу, остальные продолжали работать.

— Значит, так,— басил Блинов, оглядываясь по сторонам.— Идем, теряемся, ищем... если не находимся, встречаемся в буфете...

Они добросовестно потерялись в Доме ленинградской торговли, на его лестницах и переходах, походили по раз-

ным отделам и... встретились через пятнадцать минут в буфете. Оба засмеялись, оттого что, не сговариваясь, сошлись в одно время. Подкрепились, пошучивая над Чесноковым. До конца репетиции оставался час — оживленно пошли в театр.

— Володя,— вполголоса сказал Блинов,— играем радость встречи в буфете.

— Вот теперь верю!— сказал удовлетворенно Владимир Петрович.— От жизни, от правды жизни всегда надо идти. Всего доброго, товарищи, благодарю всех! До завтра!

Был день зарплаты. По обычаю пошли в кавказский ресторан на Невском. Это был полуподвальчик с отличными шашлыками и грузинскими винами.

Десятка полтора поклонниц шли позади, делая вид, что их не интересуют тюзяне. Девушек выдавали деланно равнодушные лица и напряженные глаза. Наконец все решительно кинулись наперерез актерам, заслонили дорогу.

Актеры весело молчали.

— Девочки, пуговиц у меня сегодня нет,— сказал мрачно Блинов.— Только на брюках.

Девчонки засмеялись и протянули открытки и карандаши.

Усков и Любашевский прошли по ступенькам вниз.

Сделав полтора десятка росчерков на своих фотографиях с изображением Годунова и Мизгиря и ответив на вопросы, куда его пригласили сниматься и скоро ли начнутся съемки, Блинов наконец спустился к приятелям.

— Осады не будет?— полюбопытствовал Любашевский.

— Когда здесь не было осады,— поморщился Блинов.— Эти пятнадцать сейчас позвонят еще пятнадцати...

— Плохо быть знаменитым,— резюмировал Усков.— А признайся, Боря, мечтал, поди, о славе?

Борис улыбнулся уголком губ.

— Боря уже прославил себя,— наливая в стакан, сказал Усков.— «Чапаев» будет жить не один десяток лет...

— А может, и сто лет,— добавил Любашевский.

— Щедрые какие,— покачал головой Блинов.— Пленка недолговечна. Да потом появятся другие фильмы. Вон «Щорса» делают. Получится еще раз «Чапаев».

— Що рас не получится,— скаламбурил Любашевский.

Рассмеялись. Застолье продолжалось.

Часа через три начали посматривать в полуподвальное окно, где виднелись ноги поклонниц.

— По-моему, реже стали,— утвердил Усков.

— Внимание,— скомандовал Борис,— звонки трамвая. Побежали!— все трое выскочили на улицу и понеслись к трамваю, который на подъеме замедлял ход.

Девчонки ахнули, но вслед успели сделать только несколько пробежек: трамвай набирал скорость.

После вечера в Доме кино гуляли с Юлей на Марсовом поле.

— А вот и наша Сплетница.

Юля подбежала к дереву, обняла ствол.

— Борис меня сегодня совершенно опозорил! Представь... Званый вечер! В Доме кино! А он забрался в оркестр и совершенно бездарно бил по литаврам! Это он Федоровой так.

— Не верь Юльке,— вступал с другого бока Борис.— Я очень ритмично бил палочками, а Юлька наговаривает, потому что ревнует к Зое. А я хороший, ритмичный!— он начинал кулаками барабанить по стволу, липа отвечала шелестом. Борис говорил «ага», бежал за женой, брал на руки.

Потом они снова вернулись к липе, еще «посплетничали» друг на друга и пошли бродить в белой ночи.

Глава вторая

В этот обычный зимний день, когда закончились репетиции, Борис вырвался от озябших поклонниц благодаря пожилому человеку в золоченом пенсне и в теплом пальто с шалевым воротником. Сначала он не узнал своего директора школы, а когда узнал, то, работая руками, протолкался к нему. Тот шутливо потрясал палкой с набалдашником. Блинов протянул руку старику, тот оперся на нее.

— А я иду мимо, вижу своего бывшего ученика в затруднительном положении, дай, думаю, выручу! Я ведь ваш постоянной зритель, да, зритель Нового ТЮЗа. Зона обожаю! От вас, Боря, в восхищении! Помните наш драмкружок и вашего Чацкого?

Борис улыбался своей обычной полуулыбкой: уголком губ.

— А как наша школа?

— Да чего ей делается? Работает! И драмкружок ра-

ботает! Пришли бы к нам — порадовали! Чайку бы после попили,— подмигнул он.— Тороплюсь на педсовет. Ждем вас, Борис Владимирович!

Они распрощались. А лет десять назад Блинов хмуро стоял перед директором школы, тот уже в который раз окидывал взглядом рослого юношу в белой рубашке с бабочкой, с опущенной головой.

— Ну, что нам с вами делать?— в третий раз повторил директор.

Борис молчал и тупо смотрел в переносицу говорившего. На переносице держалось золоченое пенсне.

— Вы решительно утверждаете, что не способны учиться?

Борис со смирением поклонился, шаркнул ногой и сказал:

— Туп-с...

И директор рассмеялся.

— Да нет, Блинов, вы меня попросту разыгрываете... Никакой вы не тупой, вон у вас бесенок промелькнул в глазах. И роль Чацкого играете прекрасно... Но держать вас в школе еще год нет смысла,— он указал рукой на его рост.— А на прощанье вы нам еще раз... (Борис напрягся) сыграете Чацкого?

И тут у Бориса распрямились сжатые плечи, большие голубые глаза засветились — лицо стало очень выразительным.

Директор покачал головой при виде такой перемены и подумал: «Чертовски обаятелен».

— Талант у вас, товарищ Блинов, и выпустим мы вас с надеждой, что рано или поздно вы будете на сцене.

Борис вопросительно глянул на директора — все ли тот сказал, а когда тот ответил взглядом, что все, чуть не выбежал из кабинета.

Надоевшая школа, прощай! Надоевший дом, где правит мачеха Наташа, прощай! Здравствуй, новая жизнь!— и он зашагал к Летнему саду послушать птиц.

Мысли совершали такие зигзаги, что дыхание прерывалось. Можно поехать к сестре Кате на Дальний Восток. Можно к брату Сергею в Мурманск. А можно и в Москву — к сестре Марусе. И осекся. А деньги где? Отец не даст. Нет, из Ленинграда нынче никуда не выбраться. И надо идти куда-то устраиваться на работу. Потяжелей. Развить мускулы. Получить специальность.

Из боковой аллеи вышла какая-то девушка. Она была в светлой безрукавной блузке и в серой юбке. На шее —

газовый шарф. Она разглядывала выставленные недавно на аллее скульптуры, а Борис все больше волновался. Правда, у этой девушки была короткая стрижка, а у той, которую она напоминала, длинная коса. Такая длинная, что Зина обматывала ее вокруг левой руки два раза, иначе коса волочилась бы по земле.

Борис не торопился догнать незнакомку, чтобы продлить это внезапное щемящее чувство.

Он сел на скамейку и, повернув голову, провожал ее глазами, пока она не скрылась.

По дороге он подумал, что его потянула в неведомый Нарым не только тоска по Зине. Он просто давно нигде не был. Ленинград он знал. Окрестности кое-какие тоже. Куоккалу. Парголово. Это было давно — в детстве. Потом революция, гражданская война, голод, смерть матери, женитьба отца. Все перевернулось в стране, и у них в семье. Стало не до путешествий.

«Какая это у меня мысль была?— подумал Борис.— Промелькнула, оставила что-то сбоку...»— и он начал перебирать снова все, о чем думал, идя из Летнего сада.

«А-а,— он с облегчением наконец уцепился за обрывок мысли.— Я сказал, что я знаю Ленинград. А что потом? Ну, конечно, я думал, что надо где-то устроиться. И еще... пусть это нескромно, но я хотел подумать так: «Я знаю Ленинград, но Ленинград не знает меня...»

В их старом домике теперь жили земляки из деревни.

— Ты никак мимо нас? Бориска!— окликнули его с крыльца.

Борис обрадовался Мише. Тот уже два года работал на буксире кочегаром. Очень симпатичный кочегаренок Миша. Волосы кудрявые, жесткие, кверху кольцами, а по лицу — веснушки — весь нос и щеки. И улыбка во весь рот.

Борис в своей рубашке с черной бабочкой выглядел артистом. И это сразу отметил Миша. Он подошел к приятелю и потряс его руку своей широкой ладонью.

— А я фотоаппарат купил,— похвастал Миша.

У Бориса упало настроение. Деньги Мишины ушли. Уже не одолжишь.— Хочешь, карточку сделаю?— предложил Миша, заметил погрустневший взгляд приятеля, но не понял отчего это.

— Давай,— вяло сказал Борис.

— Ты пока придумай, в какую позу станешь, а я вынесу,— сказал Миша и пошел в дом.

Борис оглядел двор. В дальнем углу стояли клетки с

кроликами. Там копошились черные, серые и белые зверьки. Борис пошел к клеткам.

Этот домик никаких особых чувств в нем не вызывал. Просто отец раньше, проходя мимо, любил показать детям, с чего он начинал, приехав в Петербург.

Это и правда был не домик, а скорей избенка из двух комнат и кухни. Здесь жила мама, тогда молодая, красивая, которая вышла замуж за отца только потому, что он пообещал ей ротонду. «И к чему ей нужна была эта ротонда?» — с неприязнью подумал Борис, рассматривая зверьков и поглаживая их через дверку.

Вышел Миша с треногой. Борис стал было помогать.

— Я сам, я сам,— сказал Миша, и Борис понял, что приятель просто еще не привык к своей дорогой вещи и трясется за нее. Впрочем, отец тоже недавно купил фотоаппарат и все рассказывал и показывал родственнику из деревни, а парень в застиранной желтой рубахе и с заплатой на локте так и не притронулся к аппарату, потому что отец не выпускал его из рук. Наконец спохватился, вздохнул и разрешил попробовать. Лысина отца при этом покраснела, резко выделился белый пушок.

Миша установил треногу, накрылся темным покрывалом и начал наводить фокус. Борис стал, скрестив руки на груди и чуть подняв голову.

Вот каким он получился у Миши: ясное, волевое, худощавое лицо, открытый взгляд и твердая усмешка. Борис позировал, представляя Чацкого.

Потом они пообедали крольятиной, и Мишка, без конца дергая себя за жесткую кудрину, думал, куда бы определиться Борису, и присвистнул: на буксир!

Борис молча кивнул: сойдет.

— Жизнь узнаешь, девок портовских...— Мишка хохотнул и подмигнул шельмовато.— Не одна твоя будет.

— Ладно,— буркнул Борис не то о работе, не то о девках портовских.

За год работы на буксире Борис скопил денег, уложил в чемодан свой лучший костюм и рубашку с широким галстуком — только таким он хотел показаться перед Зиной — и сел в поезд, дома, разумеется, ничего не сказал, и с домом решил вообще расстаться. К мачехе Наташе душа не лежала, с отцом что-то не ладились отношения. Часто у обоих прорывалась скрытая неприязнь. Шло это еще из детства.

Старший брат Сережа умел вывернуться из любой проделки, наврав папе. Папа верил. Трогал его открытый

характер Сережи, ласкал мальчика. Бориса коробила ложь брата; сам он, угрюмый по натуре, еще сильнее замыкался, видя, как отец часто ставит в пример подлизу Сережу.

Не бог весть какое открытие сделал маленький Борис: оказывается, с ложью жить удобнее. Но до чего же отвратительно видеть такие отношения! И назло отцу и мачехе говорил резко и насмешливо. Не прощал никому ни малейшей лжи. Довел в себе эту черту до какой-то болезненности. Часто, слушая человека, тут же задавал себе вопрос: «Лжет или нет?» И если замечал неискренность, тут же замыкался. Другое дело, если это было просто вранье, шутки ради, где один старался перехлестнуть первого, говоря: «Это анекдот, а я знаю быль»,— и выдавал «быль», за живот схватишься.

Как бы то ни было Борис решил от отца уехать как можно подальше. В своих отношениях отец и сын разберутся с годами, а многое так и не поймут — один в другом. Разные они были — Владимир Иванович и Борис. И по характеру, и по взглядам.

В Москве к сестре не зашел, но по Москве побродил. И поезд повез его дальше, к Уралу.

Почти не спал. Хотелось смотреть. И люди не мешали. По природной своей молчаливости в разговор с ними не вступал, но про себя повторял словечки или чей-то выговор. Забавляло. Историй всяких наслушался, баек, анекдотов. Ехал дед-сибиряк, споры заводил на любую тему.

— Что вы крестьян под одну гребелку,— наступал он на своего соседа,— они всякие были и есть. Хошь, анекдот расскажу?— он обвел глазами пассажиров.— Слухай. У одного помещика были такие ленивые крестьяне, что он никаким способом: ни агитацией, ни пропагандой не мог заставить их работать. Разозлился помещик и говорит: «Не хотите работать, копайте себе могилу»,— тут дед очень здорово показал, как они лениво начали копать. Слушатели рассмеялись.— Шел мимо другой помещик, спросил, в чем дело, и решил их приманутъ: «Переходите ко мне, у меня будете хлеб есть, в сметану макать, работать не надо». Мужики переглянулись, потерли лбы: «Не-е — это ишшо макать»,— дед забавно передразнил воображаемых мужиков. Запомнился дед с анекдотом.

Вслушивался в то, чем жил люд. Выходило, что неплохо. Въедался крестьянин в землю. Сей, сколько можешь. Налог посильный. Хозяйства на ноги становились.

Далекий от деревенской жизни, все же понимал их радость. От этого и у самого на душе веселело.

А была бы жива мама, возможно, никуда бы и не поехал.

И вспомнил, как везли мать свою в теплушке, как в Вятке была пересадка, они, трое детей, таскают вещи, а мать уже не может перешагнуть через рельсы и падает, запнувшись. Она грузная, подняться не может, и девочки тоже не могут поднять ее, внезапно отяжелевшую, и плачут, и хватают спешащих пассажиров за рукав: помогите.

Потом в доме появилась Наташа — молодая вдова, солдатка. Медлительная и в выговоре, и в еде. Больная мать страдальчески смотрела на ту, которая, видимо, сменит ее, если она умрет. И тихо отстраняла миловидную вдову, если та собиралась что-то поправить на постели. «Мягко стелет — жестко спать»,— шептала она про себя. Но ничего изменить не могла. Отец смотрел откровенно на молодую солдатку...

Была бы жива мама, никуда бы не поехал.

Кончились московские съестные припасы, стал покупать снедь на станциях и скоро увидел, что денег остается мало.

На одной из станций продал костюм, где-то около Новосибирска — рубашку с галстуком.

В Новосибирске сел один парень. В сером пиджачишке, в старенькой рубахе, в картузе. Лезли на лоб белые волосы. Толстогубый и толстоносый. Парень не набивался на знакомство, но как-то сразу угадал, что Борис хочет есть. У парня были ржаной хлеб и вареная картошка с луком. Звали Федором. Он рассказал, сколько жулья в Новосибирске и как они на его глазах стянули несколько чемоданов у спящих пассажиров.

— Я не мог ничего сказать,— говорил Федька,— у них у кажного за голенищем финка — во!

— Сам видел?— спросил Борис.

— Чего баить-то...— непонятно ответил Федька.

— А ты мне, выходит, компаньон теперь,— продолжал он,— да самого Томска вместе.

— Выходит,— улыбнулся дружелюбно Борис.

Оказалось, что мать у Федьки работает в Томске на вокзале уборщицей, а отец носильщиком, а сам Федька желает в железнодорожное поступать и ездил узнавать насчет этого. Ну и к дядькам заехал. Они у него по разъездам живут — двое.

Получив такую исчерпывающую информацию, Борис

не мог не сказать о себе. Но он так туманно говорил о Зине, что Федька подозрительно стал от него отодвигаться, а когда Борис спросил, где живут ссыльные, Федька так и прирос к сиденью.

По приезде Федька поспешно выбрался из вагона, и, пока Борис стоял в стороне от потока пассажиров и раздумывал, в какую сторону ему податься и не лучше ли пойти в местное ГПУ, чтобы действовать законным путем, к нему уже шел милиционер, а сзади Федька. У молодого милиционера было непроницаемое выражение. Федька злорадно улыбался: «Попался, белая гадина!»

Милиционер спросил документы, но справка ему чем-то не понравилась, и он попросил Бориса пройти в местное отделение. Федька еще раз напомнил о себе милиционеру и с сожалением отошел, услышав только «спасибо». Видно было, что он огорчился очень. Не при нем будут допрашивать переодетого беляка.

А у «беляка» к этому времени в чемодане остались только грязное полотенце и обмылок, да помазок с бритвой. За всю дорогу только раз и побрился. Не росла борода почему-то.

Тщетно уверял Борис, что не мог он быть белым офицером, что в годы гражданской войны ему было чуть больше, чем десять, что, если он отмоется, они сами увидят, что ему только восемнадцать.

Его посадили до выяснения личности. Он указал адрес сестры в Москве и написал ей письмо, чтоб выслала денег на дорогу. И написал в ГПУ длинное объяснение, почему он оказался в этих краях.

Зимней ночью в деревне Лемяково загорелся дом, в котором был сельсовет. На снегу четко отпечатались следы сапог. Эти следы привели прямо к отцу Зины. Отца арестовали, судили и сослали.

На суде тот клятвенно заверял, что он шел мимо сельсовета после игры в домино, навеселе, и никого не видел. Ему не поверили.

Отец Бориса верил, Борис тоже. Зачем приехал сюда? Повидать девушку.

Через две недели его выпустили, а денег от Маруси все не было.

— Хоть бы уж держали,— злился Борис,— по крайней мере, еда была...

Он шел по заросшей спорышем улочке с деревянным тротуаром, засунув руки в карманы, и его мутило от запахов, что шли из домишек, тесно сжатых заборами.

Вдруг его окликнули. Это был Федька.

— Иди ты к...— отрезал Борис.— Тоже мне чекист!— и зашагал прочь.

Федька догнал, потянул за рукав.

— Слышь, Борь, не обижайся. Пойдем к нам, есть, поди, хочешь!

Борис хотел гордо отказаться, но по горлу прошел судорожный комок, и Федька это заметил.

— Ну чего ты церемонишься?— начал наступать он.

Несколько дней прожил Борис у Федьки. Помогал по хозяйству: уводил на окраину корову, привязывал ее к колу и ложился с книжкой сбоку канавы. Он учил стихи Пушкина.

Потом к нему прибилось еще несколько мальчишек, кто пас коров, кто коз. И Борис потешал компанию анекдотами, представляя в лицах тех, о ком говорил. Мальчишки падали на землю, хлопали себя по пузу грязными руками или молотили по коленкам от смеха. А когда он сказал, что завтра уедет, они так загрустили, что и ему их стало жалко. Всех, когда они подрастут, пригласил в Ленинград.

Елковы проводили своего знакомца и просили писать. Федька все повторял:

— Борь, ты не помни злого... ладно?

— Да не помню, не помню,—бурчал Борис, а самому не терпелось скорей уж отъехать. Скорей бы до Москвы. Деньги выслал муж сестры и приписал, что Маруся в больнице. Это беспокоило.

Грустным взглядом провожал кружащиеся леса, мысленно попрощался с Зиной, которой так и не увидел. Милая Зина с длинной косой, обмотанной вокруг левой руки. Унылая усмешка кривила губы.

В Москве остался у сестры на месяц. Оказалось, что у него появилась племянница. Всего-навсего. И он стал дядей. Отметил это событие. За месяц сделал детекторный приемник и назвал его «Ириной»— в честь племянницы.

Дома его встретили очень сдержанно, а отец прямо спросил, не пора ли за ум браться. Борис ответил, что подумает, и как-то, проходя по Моховой, увидел объявление, что ТЮЗу нужны подсобные рабочие.

Воспоминания его оборвались от чьего-то оклика. Его называли Борей. Он оглянулся: в мокрых хлопьях, летя-

щих с серого неба, шел неторопливо молодой человек в суконном пальто. Борис не поверил глазам.

— Федор!

Толстогубое лицо расплылось в широкой улыбке:

— Узнал!

— Господи!— Борис схватил его за плечи, потряс. С того посыпался снег.— Только что о тебе думал! Давненько не вспоминалась Сибирь. Какими судьбами?

Федор развел руками.

— Вожу поезда до Москвы. Дядя у меня в Москве, один. Отпуск взял, думаю, повидаю и знаменитость ленинградскую. Мы ведь тебя сразу узнали в «Чапаеве»! Сколько раз смотрели, всем семейством! Мать — та каждый раз ревет и меня упрекает: зачем милиционеру сказал. Жена насмешками забрасывает.

— Женат?!

— Скажешь. Уже двое пацанов бегают!

Борис грустно улыбнулся.

— Ну ладно, ты где остановился?

— В гостинице мы,— с достоинством ответил Федор.— С женой. Жена дожидается. Пойдем к нам!

— О боги, боги!— пропел Борис.— Надо же, Федьку в Ленинград забросило!

— А чего?— спросил тот с обидой.

— Да ничего!— засмеялся Борис.— Рад я тебе. Ну идем к нам на спектакль, с женой, ладно?

Федор оживился.

— А я эт-то иду к служебному, вижу давеж какой-то! Думаю: господи, то ли дают чего в очередь уж около театров? А это девочки зажучили какого-то высокого миловидного, видно, вашего актера, суют ему чего-то в руки... разглядел, карточки... он пишет что-то на них. Вижу, невтерпеж уж ему, в ботиночках стоптанных, говорю: «Вы чего над человеком измываетесь в сырую погоду? Не видите разве, что замерз?»— раскланялся с ним, говорю, так и так, мне надо бы Блинова, товарища юности повидать. Он вернулся в коридор, рассказал, где ты живешь, я и пошагал неспеша. Шут с ней, с погодой, город хоть погляжу, думаю, да вот и встретился с тобой невзначай... — Боря, а ты письмо тогда вскоре от меня получал?— осторожно спросил Федор.

— Нет.

Блинов остановился.

— Так я и думал. Где-то затерялось, значит. А я ведь

потом съездил в Нарым. Разыскал твою любовь — Зинавею.

Борис удивленно покачал головой.

— Да, передала тебе большой привет, пожелала счастья. А она уж в положении была, замужняя. Муж агроном. Она избачом была.

— Ну, Федор...— не переставал удивляться Борис.— А отец-то — жив был?

— Живой, бодрый, отца твоего поминал, хороший, говорит, был друг.

— Вот обрадую папу. Хотя чему радоваться? Десять лет прошло. Адреса, случайно, не помнишь?

— Помню, скажу. Память у меня в диковинку. Все держит.

Дошли до гостиницы. Несколько часов прошло в воспоминаниях.

Как Борис попал в театр? Проходя по Моховой, увидел, что ТЮЗу нужны подсобные рабочие. В подсобных был недолго, вскоре стал электриком, а потом подал заявление в труппу. Артистическая его деятельность началась в начале 1930 года. ТЮЗ готовил спектакль по пьесе А. Крона «Винтовка 492116». Режиссер Зон давно присматривался к молчаливому рослому парню, «фактура которого напоминала рубенсовского Меркурия».

Борису тоже очень нравился быстрый темноглазый режиссер. Нравились его рост, безукоризненность в одежде, подтянутость, увлеченность, бесконечная изобретательность. Себе сказал, что если только он станет актером, то всю жизнь проработает с таким человеком, как Зон. В Зоне Борису нравилась даже его горячность. Часто ловил на себе Борис его внимательный, сквозь очки, взгляд — будто изучал.

В небольшом прологе Зон дал Борису маленькую рольку. «Если талантлив, он и в ней проявит себя»,— решил режиссер.

«Как я должен читать присягу?— размышлял Борис.— Мне ведь тоже скоро в армию... А интересно, как бы Федька Елков стал присягать? Со своим оканьем... с перханьем в горле, когда волнуется... А Мишка?»

На репетициях иногда подсаживался начинавший грузнеть А. А. Брянцев. Про Брянцева Любашевский усмешливо говорил, что он может наорать на весь художественный совет... у него борода затрясется — страшный он тогда бывает в гневе своем,— красный весь и

маленькой ручкой так и рубит. А вообще тюзяне называли своего главного папашкой.

Борис уже знал требование Брянцева: если вы хотите играть с детьми, то должны стать сами как дети, то есть оставаться до конца искренними.

На сдаче спектакля Борис наконец обрел ту форму, что искал, и заслужил похвалу главного — это, уж как водится, сразу передали ему после обсуждения худсоветом.

Где-то в темном зале сидит отец. Где-то Нина, его школьная подруга. Отец и Нина еще не знают друг друга. Еще никто из зрителей не знает Бориса Блинова.

Вдоль рампы выстраиваются красноармейцы. Среди них Борис. Позади тяжелые складки красных знамен. Прожектор высветил его фигуру. Плотную. Широкоплечую. Его лицо. Он молчит. Все ждут. Зал замер. Он молчит. Что-то сглотнул. Тихо сказал: «Я... сын... трудового народа...»— голос его, с чуть заметным сибирским оканьем, голос его набирает страстность.

Нина вся подалась вперед. Отец сжал губы. Солдат на сцене закончил свою присягу.

Зал разразился аплодисментами.

— Молчал, молчал и выдал,— радовался Зон.— Нет, парень с большими возможностями,— говорил он Брянцеву,— я в нем не ошибся.

— Лучшее в спектакле — это клятва, надо прямо признать,— подтвердил глуховато Брянцев.

— Ты чего так кланялся высокомерно?— напустился отец.— Ты народу пониже...

— Еще не научился,— отмахивался Борис, выискивая в толпе Нину. Но она, видимо, ушла.

Подошел Любашевский, молча пожал руку. Неподалеку стояла странная женщина с глазами чуть не во все лицо.

— Обрати внимание,— шепнул потихоньку Борис,— на ту женщину. Она похожа на бабочку «мертвая голова».

— Да?— сказал Любашевский.— Это моя жена.

Борис смутился. Любашевский рассмеялся: он любил острые определения.

— Боря,— сказал он,— пьесу я Зону отдал. Возможно, для тебя тоже там роль найдется.

— Спасибо,— ответил Борис,— но, может, ты познакомишь со своей женой?

До трамвайной остановки шли вместе с отцом и

Любашевским. Нина ожидала здесь. Увидела, что не один, и быстро пошла прочь. Он догнал ее и схватил за руку.

— Нина, ну чего ты? Все славные люди...

Знакомились уже на трамвайной площадке. Любашевский заговорил о спектакле, но отец и Нина молчали, а поддерживала разговор только жена Дэля. Так неловко и простились с Ниной. Борис хотел было проводить ее, но она кивнула гордо: не надо.

— Ну, заноза,— сказал с осуждением отец.

Любашевские деликатно молчали.

В пьесе Дэля-Любашевского Зон нашел для Блинова роль. Солдат Савелов, бывший неграмотный мужик, взятый в армию от земли... Борис сделал его неповоротливым, грузным, мрачным...

Урок словесности. За каждую ошибку унтер заставляет солдат бить друг друга. Маленький хилый Шифман своим детским кулачком еле касается Савелова-Блинова.

— А теперь ты!— командует унтер Савелову.

Савелов своим пудовым кулаком тупо и старательно бьет маленького Шифмана, и тот падает.

Монотонно, мучительно, напрягая память, Савелов-Блинов повторяет:

— Так что, ваше благородие, у унтера на погонах три блездочки... так что, ваше благородие, у унтера на погонах... блездочки...

Ночь. На нарах содрогается в беззвучном плаче, переживая дневное унижение, бородач Савелов.

— Даже жуть берет, как это ты делаешь,— восхищенно говорит Любашевский.— И глаза у тебя под мохнатыми бровями такие чистые, детские...

— Вот подбросит Зон мало-мальски романтическую роль... Ты пойдешь!

И такая роль пришла. Шварц принес свой «Клад». Блинов был Али-Беком. Он весь, по словам Е. А. Уваровой, порывистый и строптивый, искрился, горел, сверкал, его тело не знало ни секунды покоя. Он словно вспыхивал и взлетал на крутые склоны гор, как на пружинах. Откуда-то появились кошачья гибкость и плавность.

Сбылось предсказание Любашевского. Пришел к Борису успех. Можно было делать предложение Нине,

Высокая, стройная. Вздернутый нос. Он придавал горделивое выражение ее лицу с широко поставленными светлыми глазами. Яркая нижняя губка маленького рта. Есть порой в ее лице что-то от лисочки из сказки «Колобок». Будто подняла она кверху мордочку, выпятила нижнюю губку, а сама ждет, когда запоет Колобок. А глаза хитрющие.

До театра Борис делал ей предложение, но Нина, недоуменно взметнув бровки кверху, сказала:

— На что же мы будем жить? Надо же закрепиться где-то постоянно...

Вчера он снова пригласил ее на спектакль, и только после спектакля вспомнил, что в зале сидела его невеста. То есть до начала он помнил, от этого у него и настрой был особый, а потом забыл и теперь поспешно разгримировывался, боясь, как бы она не ушла.

Она не ушла. Она ждала его на улице, у служебного входа, где толпилось около десятка девушек, поеживаясь от холода. Нина с воротником из чернобурки выделялась.

Борис поспешно взял ее под руку, в толпе девушек раздался дружный вздох, и они поспешили за удалявшейся парой. Пара успела вскочить в трамвай, а девушки отстали. Нина укоризненно посмотрела на Бориса.

— Они косились на меня, будто я была их врагом.

— Ты и есть их враг,— мрачно сказал Борис,— ты отобрала у них ужин...— и улыбнулся. Глаза его сделались яркими. Как она любила у него эту улыбку!..

Он проводил ее до арки дома.

— Ну как, Нина?— робко спросил он.

— Что как?— не поняла она.

Он опустился на одно колено, приложил руку к сердцу и опустил голову: «Жду приговора».

— Господи, ну ты можешь без своих дурацких шуток?— с укором сказала она.— Буду твоей женой...

Он вскочил. Она отбивалась со смехом.

— Я не то хотела... погоди... Борис...

Нинины родители отвели молодым комнату. Борис пристроил своих птиц в клетках и мечтал завести собаку.

А между тем Зон решил попробовать ввести Бориса в «Разбойники» Шиллера. Борис засел за книги.

Через неделю снова перечитал пьесу. Лежал на диване, устремив неподвижные глаза за окно. Думал. О себе. О своей внешности. Большие залысины крутого

лба. Нос сапожком. Доставляет вечные хлопоты режиссерам. Заставляют выпрямлять. Сжатая твердая нижняя губа.

На голове будет парик. Пышные волосы. Нос выпрямят.

Немного кривоватые ноги. Кавалерийские. Борис ни за что бы не признался, что это его самое больное место. Утешало только то, что в Москве был актер Абдулов, совсем хромой.

О внешности Карла Моора еще подумает. Другое надо.

«На тиранов!»— это основная мысль пьесы... Интересно, всегда ли «Разбойники» будут пользоваться популярностью?

Было время, да и сейчас есть такая потребность, когда людям нужен такой герой, как Карл Моор. Совсем недавно закончились революция и гражданская война... Но вот пройдет лет пятьдесят... Не будет войн... Что найдет читатель в этой пьесе?

Неужели,— задумался он,— через пятьдесят лет люди изживут зло?— скептическая усмешка тронула его губы.— Нет, еще долго... к сожалению, не изживут... Живучи проходимцы, которые говорят примерно так: «Честное имя — право же, ценная монета. Можно неплохо поживиться, умело пуская ее в оборот. Совесть — о, это отличное пугало, чтобы отгонять воробьев от вишневых деревьев, или, вернее, ловко составленный вексель, который выпутывает из беды и банкрота. Мы велим себе сшить совесть по новому фасону,— чтобы пошире растянуть ее, когда раздобреем!»

А что стоят циничные рассуждения Франца о кровной любви! Разве мало подобных францев на земле? «Бледность нищеты и рабского страха — вот цвет моей ливреи».

Вслушайся в то, что происходит в Германии, и приложи слова своего героя: «Пропади он пропадом, этот хилый век кастратов, способный переживать подвиги былых времен, поносить в комментариях героев древности или корежить их в трагедиях. В их чреслах иссякла сила, и людей плодят с помощью пивных дрожжей!»

«Закон не создал ни одного великого человека, лишь свобода порождает гигантов и высокие порывы!»— Борис еще раз перечел это место, причмокнул губами: «Крепко!»

Дальше начался диалог с самим собой.

— Но какая свобода?
— Республика.
— Разве так идут к республике?
— Трагедия его в том, что помыслы разбились... Совесть, которая у Франца-брата сшита по новому фасону, эта совесть не дает Карлу быть атаманом. Слишком много злодеяний наряду с хорошим.
— Что же мне играть? Порыв? Романтику! Мужество! И казнь совестью, да?
«Дух мой жаждет подвигов, дыхание — свободы... Смерть или свобода! Живыми не дадимся!»
— Да, мой дух тоже жаждет подвигов,— сказал он.— А где их взять? Вот отсюда мы и спляшем,— забурчал он,— мой дух — тоже — жаждет подвигов. Может, в армии что-нибудь...— он на минуту отвлекся.— А вообще, правильно ли я выбрал театр? Пошел бы в военное училище, стал бы кадровым военным. Служил бы в коннице.
— Вот поедешь, пороху понюхаешь, лямку потянешь, тогда и выберешь,— сказал он и передразнил себя голосом Зона: «Нет, Борис, вы еще не поверили в свои новые человеческие свойства и занимаетесь ерундой. А вам нужно найти свой ритм, мысли, замкнуться в себе, зажить сообразно им!»
— Сейчас, дорогой Борис Вульфович, сейчас мы начнем искать... жесты... паузы... внутренний темп... пластику... Нет, ничего я не нашел сегодня,— он совсем повесил голову. Потом представил глаза Зона.
— Меня сомнет Шиллер.
— А вы себя сломайте,— Борис Вульфович погладил двумя пальцами свою бабочку.— Ломайте себя и подминайте Шиллера...
— Не знаю, как подступиться...
— Вы уже подступились...
— Что это — я спал?— Борис открыл глаза. Он лежал на диване. На груди лежала книжка Шиллера.— Но ведь я же не спал!
Оказалось, что все-таки спал, но всего минуты две. Встал, сделал несколько гимнастических упражнений, почистил клетки, насыпал корму и переменил воду птицам.
Комната его была похожа на мрачную клетку, на окне решетки — хозяева боялись воров. В комнате стояли диван, стол и пара стульев.
Когда собирались друзья из театра, подвигали стол

к дивану. На светло-зеленой стене полка с книжками. В углу чемодан с бельем.

— Зато у нас полная свобода,— сказал он скворцу.— И кошек нет. И грызть нас никто не станет. Мое — наше — дыханье с вами — жаждет свободы... Нам не нужны ни кошки, ни мачехи Наташи, и даже всякие задавалы Нины не нужны.

От спектакля к спектаклю менялся его Карл Моор.

— Сегодня вы поднялись почти до трагического величия!— Борис Вульфович в волнении теребил свою бабочку.— Вы чувствовали зал? Завороженные, затаили дыхание... Спасибо!

— Что с вами?— спрашивал он в другой раз недоуменно и опять теребил свою бабочку.— Вы сегодня пешком ходили по сцене... вялость... И зрители явно скучали, кашель слышался...

— Настроения не было,— неохотно ответил Борис.

Борис Вульфович только глаза округлял, не находя слов. Потом напускался на нахохлившегося Блинова:

— Вы же артист! Забыть обо всем, кроме того, что вы — Карл... Плевать зрителю, что у вас нет настроения, что у вас болит зуб или вы поругались с женой. Зритель идет на Блинова, так дайте им Блинова, а не это... разбавленное водичкой...

Разводил руками в третий раз и говорил:

— Сижу, как на бочке с порохом... Не знаешь, чего ждать от него. Пожалуйста, сегодня он вспыхивал, как пламя, даже на сцене светлее становилось!

Блинов молча выслушал похвалы и похромал в гримерную.

Борис Вульфович полетел за ним.

— Борис, что с вами?

— У меня ишиас, Борис Вульфович.

Зон схватил его за руку:

— Голубчик, немедленно домой, в больницу, вы с ума сошли!

После выздоровления Зон сказал:

— Приехала делегация из Германии, интересуются, как мы относимся к их культуре, хотели бы и «Разбойников» посмотреть. Я эти дни думал и решил, чтобы вы играли Карла...— Зон выжидательно смотрел сквозь очки в глаза Блинову. У того прыгнули искорки, он притушил блеск глаз, опустив на мгновение ресницы.

— Вы хорошо себя чувствуете?— настойчиво допытывался Зон.

— Конечно, Борис Вульфович,— весело отвечал тот.— Не ударим лицом в грязь перед немцами.

Занавес открыт: четыре асимметрично расставленные посеребренные колонны на фоне черного бархата. Над порталом слова:

Jn tyrannos!— Против тиранов!

Зон наблюдает за лицами гостей. Среди них едва заметно движение. Оформление им понравилось. Зон нисколько не переживал за других актеров. Предметом его волнения был Блинов. Неужели не проникнется, не почувствует?

Но нет — вот он. Подтянутый, белокурый, пышные волосы развеваются. От стремительных шагов ветер. Глаза сияют. Речь вдохновенна.

Замер зал. Кажется, крикни он сейчас в зал: «Кто хочет в мою шайку?»— все ринутся на сцену.

Гости захвачены происходящим.

Зал неистовствует. Встает, рукоплещет, он не может насытиться и требует Блинова еще и еще раз.

— Фурор!— наклоняется к Зону один из гостей.

Борис звонил в этот вечер другу и говорил:

— Нет, Виктор, нет... только с тобой... Как это не хочешь? Собаку? Как же я буду с собакой, а ты без нее... завтра же едем! Они отдают только в хорошие руки... Эта порода — интеллигенты и умницы. Только нервные. Спроси у Чарушина.

Так в квартире появился каштановый терьер Васька. Братца Васьки назвали Фомкой. Иногда Васька и Фомка жили вместе, а это бывало, когда поссорившийся с женой Борис уходил «навсегда» и уносил щенка к Виктору. Потом муж и жена мирились, а Васька и Фомка скучали друг без друга.

Борис все свободное время проводил с Васькой, кормил, купал, чесал, разговаривал, хохотал, когда Васька растаскивал носки или тапочки, а то и ботинки, а когда ложился читать, Васька укладывался рядом.

Появилась возможность купить моторную лодку.

На пятом этаже соседи подняли шум, тарабанили в двери, а из окон двадцатой квартиры валил сизый дым. Борис ничего не слышал.

Несколько часов назад он разобрал навесной мотор,

собрал его, но мотор не работал. Промучившись, он несколько раз перечитал учебник, взятый у Виктора, перечертил схемы, снова собрал, и — мотор затарахтел. Дребезжала посуда в шкафу, трясся пол, заливался лаем Васька, а Борис сидел на полу и умиленно смотрел на тарахтящее чудо. В этих звуках он услышал, как плывет его лодка дальше, по Ладоге, куда он не забирался еще, как натасканный Васька выслеживает уток, как разводят они с Виктором или Чарушиным костер и слушают ночь... тишину... Где-то снизу донесся вой пожарной сирены.

Борис прислушался, кто-то оголтело ломился в двери.

Он открыл дверь — несколько человек оттеснили его. Соседи были в недоумении, ничего не понимал и Борис.

— В чем дело?— недовольно спросил он.

— Грохот же!— взорвался соседкин голос.

— Ах да,— он выключил мотор и смущенно извинился.— А пожарные-то причем?

— Так дым же валит!— возмутилась опять бдительная соседка.

Все рассмеялись, поздравили Бориса с покупкой.

Глава третья

Мотор чихнул в последний раз и окончательно заглох. Лодка чуть покачивалась на волнах.

Лодка Виктора тарахтела уже вдали.

— Подождем,— сказал Борис.— Придется здесь выгружаться и делать привал.

— Конечно,— сказала Нина.

Она сидела на носу, повязанная белым платком, в теплой кофте. Васька выжидательно смотрел на хозяев. Рядом с ним лежала связка уток. Из ведерка тянуло густым запахом — там лежала свежая рыба.

— На ужин уху сварим,— сказал Борис, вглядываясь в сторону темневшего зеленого леса.

— Конечно,— отозвалась Нина.— Я бы могла уже сейчас чистить рыбу...

— Давай начнем,— охотно согласился он.— Только я здорово проголодался — посмотри, далеко ли пирожки.

Она достала из рюкзака сверток.

— Ты стала делать их так же вкусно, как и Катя,— сказал он, принимаясь за второй.

Похвала доставила ей удовольствие.

— Пошла!— вскинулась она, проводив глазами вылетевшую из камышей утку.

— Ах ты, мой светик,— рассмеялся Борис.— Надо, наверно, второе ружье купить?

— Ну, перестань,— смеялась она смущенно.

— А что, купим, зимой на зайчиков пойдем... Втроем: я, ты и Васька... Кажется, возвращаются,— Борис повернул голову. На розовеющей глади появилась темная лодка с силуэтами двух людей. К крикам уток в камышах и крикам чаек добавилось спокойное тарахтенье мотора.

Васька нетерпеливо перебирал лапами. Завидев лодку, коротко взлаял, в ответ донесся радостный Фомкин голос.

Выяснив, что мотор напрочь отказал, Виктор взял на буксир лодку Бориса.

Мужчины пошли искать сушняк, Нина с Ириной принялись чистить рыбу.

— Нина,— осторожно спросила Ирина,— ну как у вас?

Нина пожала плечами.

— Пока мир. Но эти проклятые поклонницы... жизни нет. Ты знаешь, я наняла секретаршу...

— То есть?

— Девушку одну, которая сидит у телефона и отвечает. Отвечает: «Его нет дома».

В перерывах читает книжку. Приходит по вечерам. Иной раз я думаю: лучше бы он не был актером!— с силой произнесла она.

Полная яркая губка дрогнула.

— Нина, а ты бы уж не очень, а?..— Ирина чуть покачала головой.

— Ну как же не очень!— в голосе ее послышались слезы.— Как же не очень...

От леса донесся смех Виктора и басок Бориса.

— Борис уже в своем амплуа,— сказала Ирина.

И сразу переменилась Нина. Не осталось и следа расстройства. Она удивительно похорошела.

— Какая ты...— удивилась Ирина.— Хоть на сцену...

— Я человек настроения,— согласилась Нина.

Разложили костер, приладили котелок. Борис, прихватив фонарик, ушел к лодке.

— Они себя называют блинницы,— Нина гладила подлезшего к ее рукам Ваську.— На стене в подъезде

сделали надпись: «Мы все равно тебя любим, Борис. Блинницы».

От озера зачихал мотор, потом раздалось ровное постукивание.

После ужина Борис веселил компанию анекдотами. Потом читал вполголоса «19 октября» Пушкина.

— А кому ж из нас придется под старость одному остаться...— сказала Ирина задумчиво.

— Во всяком случае, не мне,— серьезно ответил Борис.— Я уже давно знаю, что кончу рано. Несмотря на свое богатырское здоровье...

Все молча посмотрели на него.

— Странный я, господа, видел сегодня сон,— начал он тревожно и недоуменно. Все трое вопросительно уставились на говорившего.— Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! Пришли, понюхали — и пошли прочь!

Слушатели посмеялись и начали укладываться в спальные мешки. Борис не спал. Десятки неуловимых мыслей, обрывки каких-то видений... Одна мысль цепляется за другую, эта выволакивает третью, смотришь, уже картинка нарисовалась... раздумье берет... А то вдруг имя чье-то встрянет: Тарквиний Гордый... чёрта ли в нем, в этом Тарквинии, с чего он взялся, а вот поди ж ты — встал торчком.

А чаще всего отрешение: природа забирает. И лежишь ты, ее дитя, вблизи нее и чувствуешь мудрую и радуешься, и покойно, и забот никаких... спать!

Но вот заплелось, заплелось, завязалось...

Васька спросонок заворчал. Ему отозвался зевком Фомка. В прозрачной белой ночи далеко светились звезды. И вдруг воображение Бориса оторвалось от земли. Ему представилось черное пространство, в котором несется круглая земля с этой белой ночью, с озером, с миллионами других озер, морей, океанов и городами, и никаким светилам и никому другому дела нет до их Земли и до него, Бориса, и как все мелко это оттуда, сверху... все эти страсти... войны... цари и царьки...

Приснилось ему, что он на Марсе, едет на телеге, а на душе чувство страшной оторванности и ужаса, оттого что долгие годы будет добираться до Земли...

А потом приснилось, что сидели у Виктора. Выпили. Виктор поставил пластинку. Голос пел: «Я тебе ничего не сказал...»

— Ну почему он ей ничего не сказал?— жалобно воскликнул Борис.

Ирина рисовала на них карикатуру — сидят трое за столом, слушают и горюют, почему это он ей ничего не сказал?

В жизни вскоре случилось по-другому.

Встретилась юная красивая студентка Юля, и Борис оставил Нину, уйдя, как ему теперь точно казалось, навсегда. Не знал он еще, на какие «вывихи» способно его сердце, не знал, какой крепкой ниткой притянут был к своей первой жене...

«Мы познакомились с Борисом в 1933 году на свадьбе его друга и моей подруги. Зимой. В Ленинграде. В доме подруги на ул. Чайковского. Мне было семнадцать лет. Борису двадцать четыре. Он был уже женат на Нине Гавриловне.

Он ушел от нее.

Мы сняли крошечную комнату на шестом этаже на Каляевой улице. В ней едва умещалась железная односпальная кровать, кухонный столик и два табурета. Посреди комнаты толстым столбом возвышалась железная печка.

В это время я училась в музыкальном техникуме, по классу виолончели. Борис был артистом ТЮЗа на Моховой.

Мы жили очень бедно! Ни он, ни я не были людьми практичными и хозяйственными.

В ту зиму, когда мы жили на Каляевой улице, на «колокольне», у нас не было дров. Мерзли отчаянно! Спасались тем, что Борис приносил ежедневно в огромной хозяйственной сумке, именуемой «зимбилем», обрезки декораций из столярной мастерской театра.

Каждый день Борис встречал меня, и мы бежали «домой».

Поднимались в комнату, Борис усаживал меня на кровать и с головой укрывал своим пальто. Сам принимался старательно растапливать печку. Когда огонь в печи разгорался, а лед на оконном стекле начинал темнеть и таять, стекая на подоконник, Борис командовал: «Вылезай, Шух-шух-га!»

Мы пили кипяток. Ели черный хлеб с брынзой. Вкусно!

Читали.

Диккенса — заливаясь слезами. Гофмана — переполненные мистическим ужасом. Достоевского — близко принимая к сердцу и понимая человеческую боль страданий и унижений.

Но самой любимой нашей книгой была и оставалась на всю жизнь «Песнь о Гайавате» Лонгфелло.

Казалось, все краски природы наполняли нашу каморку. Вся, самая дивная, музыка была с нами...»

(Из письма Ю. Н. Шемякиной).

Глава четвертая

1933 год. Шли съемки фильма «Чапаев», которому суждено было стать в истории советского кино «фильмом века».

Блинову в этом фильме надо было играть Фурманова.

Каким надо было его играть?

Вот он расстается с товарищами. В романе об этом так: «Федор сосредоточенно молчал и с улыбкой слушал нервно-восторженные повествования отъезжающих товарищей... Он до сих пор на фронте не бывал, ничего здесь не знал... да и приехал он с самым искренним желанием работать — не командовать, а работать»— последние слова в романе выделены курсивом. Вот Федор (Фурманов) делает про себя замечание: «Много молча может сделать человек!» Блинов подчеркивает эти строчки. Кажется, ключ найден. Даже в самых невыгодных для себя делах, когда он чувствует себя «шляпой гражданской», Фурманов серьезен и спокоен. Вот как тонко продумал он систему отношений с Чапаевым!..

Фурманов пока силен политически. Ему надо духовно полонить Чапаева: «Зарекомендовать себя храбрым воином — это уж непременно... Но гонору ни-ни: простоту, сердечность и некоторую грубоватость отношений установить теперь же, чтоб и помыслов не было о Федоре как о белоручке-интеллигенте». Все это Борис выписал из романа — целый блокнот записей. Читал дневники Фурманова.

— Юля!— звал он.— Слушай!— А ведь у нас с Фурмановым много общего. Просто удивительно, как это Васильевы во мне разглядели!..

Во-первых, он любил Пушкина, и я тоже. Во-вторых,

он бегал смотреть «Разбойников», еще мальчишкой, а для меня это любимая пьеса. В-третьих, он любил Левитана и рыбалку. Для меня нет лучшего художника, чем Левитан, и нет лучшего отдыха, чем охота.— Он захлопнул книгу.— Завтра мы едем на съемки, наверно, долго не увидимся.

— Как в театре встретили известие о твоем приглашении?

Борис пожал плечами:

— Не интересовался.

— Ну это ты почувствуешь, когда вернешься.

— У нас хорошие люди, зря ты на них нападаешь... Приготовь-ка мне бельишко... какие мне книжки взять с собой... Какая жалость, что Ваську нельзя... но ружье я прихвачу, может, в степи поохочусь...— говорил он, двигая чемоданы и опоражнивая один из них.

— Я долго не приеду,— говорил он над чемоданом,— а ты уж тут без меня постарайся — роди мне сына, а? Представляешь, как мы с ним на охоту вместе двинем!

Она грустно посмотрела на него.

— Ах, женка,— сказал он,— докучать не буду. Что делаем вечером? Никуда не пойдем, ладно? Выпьем, добрая подружка, сердцу будет веселей,— забурчал он.— Может, Кате позвоним?

— Как хочешь,— сказала Юля сухо.

— Я уже по тону чувствую, что тебе не хочется. А роднее Кати у меня нет человека. И поэтому я ей позвоню,— сказал он упрямо.— В конце концов должны же вы подружиться с ней!

— Ну, не кипятись, звони,— отошла Юля.— Просто я тебя так люблю, Борис,— сказала она тихо,— что ревную ко всем ужасно! Мне порой смешно, а порой сделать ничего не могу. Как я без тебя буду этот месяц?

— Месяцы...— поправил он.

Она охнула и побледнела. Он покачал головой: сумасшедшая.

Братья Васильевы в своей заявке на фильм писали: «Мы делаем фильм о людях.

Отсюда — наша ставка на работу с актерами».

Мы хорошо знаем книгу Фурманова и фильм «Чапаев». Конечно, Васильевы отталкивались от произведения. Но стоит еще раз перечитать роман, чтобы увидеть, что фильм «Чапаев»— это не совсем то же. Отдельные

незначительные эпизоды превратились в картины, а многого и вообще нет у Фурманова. Я бы сказала, что Васильевы сконцентрировали действие, сделали густой замес, придали картине острую сюжетность. Чапаев вылеплен в фильме. Ничего лишнего.

Из воспоминаний современников нам известно, что Васильевы испробовали десятки вариантов отдельных сцен, эпизодов, деталей.

Поначалу сценарий открывали эпизоды проводов ивановских ткачей — добровольцев, их путь на фронт (как у Фурманова). Потом фильм начали с первой встречи Чапаева и Фурманова. В избе. (Опять же, как у писателя). Отсняли половину фильма. И отказались от начала.

Всмотримся в сценарную запись Г. Васильева, сделанную на съемочной площадке:

«Из-за бугра прямо на аппарат вылетает тройка...

Навстречу ей — толпа бегущих людей, часть из них без винтовок, кое-кто и босиком...

Тройка врезалась в толпу...

Сидящий в пролетке человек вскочил... (Это последнее слово в следующей редакции зачеркнуто, как мне кажется потому, что оно противоречило облику Чапаева. Это человек с достоинством, лишенный суетливости, и Васильев ставит рядом другое: «выпрямился во весь рост и вы...» — опять зачеркнуто. Фраза стала энергичной без «и выкрикнул»). Выпрямился во весь рост.

— Стой... Куда?!

Толпа окружила пролетку с любимым командиром...

Это Чапаев!»

Было три варианта и финала картины. Например, такой: траурный митинг у могилы погибших бойцов, новое наступление чапаевской дивизии, постепенно переходящее в показ частей современной Красной Армии, с ее машинами, танками, с тучей краснозвездных самолетов в небе.

Или такой: Петька и Анка остались живы. Они в осеннем саду, где яблони ломятся от плодов. Анка в белом платье, счастливая, смеющаяся, Петька забрался на дерево, выбирает ей самое красивое яблоко.

Засняли на Кавказе эту сцену. И тоже отказались.

И остался последний, третий вариант, который мы видим в фильме — гибель Чапаева. Будем благодарны Васильевым за этот третий вариант.

А что же Блинов?

Целый год длились у него съемки. Два года снимался весь фильм.

Началась долгая жизнь «Чапаева».

Передовая «Правды» целиком была посвящена новому фильму. В печати появились отзывы Сталина, Тухачевского, Буденного, Ворошилова, Кутякова (командира чапаевской дивизии), А. Чапаева (сына Василия Ивановича), критиков, письма зрителей.

Проходили встречи, конференции, брались интервью, просили написать что-нибудь в газеты. Начали составлять сборник отзывов, где опять же шли приветствия Сталина, передовая «Правды» и т. д. Трогают письма рабочих, колхозников, где искренне уверяют, что фильм «Чапаев» будет жить вечно.

Ответ Блинова в одной из ленинградских газет:

«Хотелось дать настоящего большевика, растущего в боях. Фурманов — человек не чуждый человеческих слабостей, но с большим характером и умом, с твердой большевистской волей.

Хотелось, чтобы этот человек (ставший мне близким) жил и рос от кадра к кадру, становясь и для зрителя более близким,— образ комиссара гражданской войны».

Там же появилась заметка «Мой Фурманов».

«Приступая к работе над ролью Фурманова, мне не хотелось делать его стальным, немигающим командиром. Для актера нет ничего хуже играть одностороннюю роль.

Фурманов мне представлялся человеком убежденным, обладающим огромной силой воли.

Внутренняя убежденность этого человека заставляет его говорить, несмотря на горловую чахотку, говорить даже тогда, когда вместе со словами на его губах выступала кровь. У такого человека в минуту опасности на лице улыбка, а за спиной он ломает пальцы.

Мне хотелось наделить Фурманова человеческими чертами, показать, что и ему, этому волевому человеку, стойкому большевику, иногда бывает страшно.

Я хотел, чтобы Фурманов, преодолевая эти черты, воспитывал в себе волевого командира. Я стремился наделить его мягкостью и лирикой».

Лестно было читать слова сына Чапаева Александра Васильевича: «Прекрасно представлен Фурманов. Это человек с твердыми убеждениями. Фурманов показывает свое влияние — как представитель партии — на протя-

жении всей картины. Нет такого места, где бы не ощущалась его роль и влияние».

А вот что писал рецензент спустя сорок лет, когда Блинова давно уже не было в живых: «Роль не изобиловала эффектными сценами, резкими переходами, которые дают актеру столь прелестные возможности.

Блинов нашел и упрямую посадку головы — выпуклым лбом вперед, и милую застенчивую улыбку, и тонкую иронию, и прямой, чистосердечный и честный взгляд — все, что сделало образ комиссара человечным и индивидуальным. За внешней скромностью ощущалась железная воля, воспитание революционной страстностью и партийной дисциплиной».

Но вернемся в те далекие тридцатые годы, когда совершил свое триумфальное шествие по экранам страны «Чапаев».

Среди десятков похвал, которые принимал Борис в течение ряда лет, поразила его статья маленькой Лели. Леля (Лиза Уварова) была юным рыжеватым созданием, живой, смешливой, она играла в «Сказках Пушкина» бесенка и боялась Балды, когда тот, полуголый, прямо-таки богатырский, крутил веревку и собирался «море морщить». Леля, которую он однажды за кулисами отхлопал по заднему месту за то, что она разбавила в графине водку, подавая это ему, «ундеру», эта Леля написала о нем не совсем обычную статью.

Статья называлась: «Актер, который не лжет». Леля анализировала его тюзовские роли и касалась Фурманова.

«Блинов строил роль Фурманова на огромной простоте и обаянии. Он милый, благородный человек, очень молодой и искренний, но в нем не чувствуется вождя. Рядом с могучим Чапаевым он теряется. Веришь, что Чапаев мог его полюбить, но не верится, что он мог руководить Чапаевым. Не чувствуется его значительности, его ведущей роли представителя партии».

Борис пришел с журналом в театр, развернул статью: «Твоя?»—«Моя»,— смущенно ответила Лиля.

— Спасибо,— он протянул ей руку. Пожал.

— Но ты же и сам, Боря, говорил, что ролью недоволен,— словно оправдывалась она.

— Говорил,— сказал он.— Но я был в единственном лице. Теперь мы в двойственном. По-моему,— продолжал он,— хвалы мне выдают за счет других: за счет Бабочкина, Певцова, Кмита...

— Ну ничего Боря,— успокоила она.— Это же первая твоя роль, сколько еще впереди!

— Боюсь, что Фурманов так и оставит меня в военной форме,— невесело пошутил он.

— А что?— Леля насторожилась.

— Уже пригласили на роль командира, да от двух политруков отказался.

— Ой, Боря, тебе так идет военная форма!— восторженно сказала Леля.— И как я завидую тебе, что ты снимаешься в кино! Ты хоть бы там похлопотал, может, ролька какая и для меня бы нашлась,— жалобно сказала она.

А популярность «Чапаева» и его исполнителей росла. Блинова приглашали военные: то балтийцы, то летчики, то кавалеристы. Армию он и сам любил, особенно кавалерию, и если был случай, садился на коня и лихо, со свистом, рубил лозу или джигитовал.

Глава пятая

В театре назревало что-то необычайное. Из театра собралась уходить большая группа актеров во главе с Зоном.

При встречах слышалось:

— Ну как, решил?

— А ты уходишь?

— Конечно.

— А ты?

— Подумаю.

— А я без раздумий.

— Брянцев обидится.

— Нет, я с Брянцевым.

— Эх вы... «новаторы». Вырастили вас на свою голову.

— Нет, серьезно, тут не должно быть обиды. Мы же выросли! Нам тесно!

— Мы хотим играть для всех!

— А Брянцев по-прежнему будет для нас «Папашкой».

— Зон — талантливейший режиссер...

— Добавь: и педагог. Ему хочется большей самостоятельности.

— Ну, ребята, мы еще с первого курса мечтали: хоть на Камчатку, но вместе.

— Тюз не может обслуживать весь город...
— Да, мы будем его филиалом. И все. И не надо сердиться.
— Брянцев никого уговаривать не будет, хотя и переживает.
— Поверьте, мы с вами останемся друзьями.
Зон хлопотал о помещении. Разрешение получили. В Ленинграде открылся Новый ТЮЗ. И открылся он «Снегурочкой». Зон, который требовал от актеров фантазии, будоражил ее, помогая делать близкими и понятными поступки изображаемых героев, добился того, что спектакль стал у зрителей одним из любимых, а о театре заговорили как об одном из лучших.
Татьяна Григорьевна Сойникова, режиссер Нового ТЮЗа, вспоминала, какой был Борис в роли Мизгиря. Любовь его сжигала. Когда он обращался к царю со словами: «Но если б ты, великий царь, увидел Снегурочку...»— зал замирал. В красном плаще, по лесу, ищет Мизгирь свою Снегурочку. По сцене прыгают лешие, снегурочки, мечется прожектор, высвечивая эту вакханалию, а Мизгирь протягивает руки, и сердце отзывается на этот крик, зовет: «Снегурочка-а!»
Взбегает на скалу и падает вниз, а высота несколько метров, за ним взвивается красный плащ.
Занавес подымался, были вечера, по восемнадцать раз. И прошло около восьмисот представлений, спектакль прожил на сцене почти десять лет.
Для Бориса Вульфовича Зона главным принципом в работе с актерами было: пусть играют сначала, как хотят.
«Роль режиссера,— писал он,— заключается в умении, предвидя целое, дать первый толчок и, взбудоражив творческое воображение актеров, всячески развивать их инициативу, отбирать наиболее верное, выразительное».
Зон любил повторять слова Станиславского:
— Ищите на сцене много маленьких правд, вы придете к одной большой правде.

Глава шестая

Шла война с Испанией. Борис жадно читал кольцовские сообщения в «Правде», находясь в это время на съемках «Волочаевских дней». Съемки шли под Ленинградом.

Оператор, прильнув к глазку аппарата, долго вглядывался в толпу, которая шумит на пригорке. Время от времени он бросает отрывисто:

— Папаша, ближе к колесу...

— Еще на волосок...

Блинов сидит в стороне, верхом на бревне. Он думает, что его матрос Бублин пока не такой, как задуман, ему не удался пока и сибирский говор. А ведь он может копировать любого.

И вспомнилась ему поездка в Томск. Семья Елковых. Федька. Вот тебе и говор. Борис еще раз проговаривает фразы, подражая Федьке. Консультанты, бородатые сибирские партизаны, удовлетворенно кивают головами: получается. Надо переозвучивать.

Еще он думает о театре, о доме, о своем терьере Ваське. О Нине он старается не думать. Все у них как-то трудно. Об этом он и Кате, сестре, сказал.

— Я боюсь твоих телефонных звонков, Боря,— грустно ответила сестра.— Пока ты не звонишь, я спокойна. Как только твой голос — сердце у меня сжимается. Когда же вы поймете друг друга?

— Мы никогда не поймем,— говорит он низким хриплым голосом,— мы разошлись...

— Какой хороший свет!— раздался голос режиссера.

Блинов взглянул наверх. Облака разошлись, открылось голубое небо.

— Самый приятный свет!— радуется Сергей Дмитриевич Васильев и обводит глазами сосны, освещенные солнцем.— Все по местам.

Блинов в гриме матроса, бородатого, усатого, валкой походкой пошел к толпе.

Съемки шли и зимой. Нашли крутую гору, полили склоны водой из брандспойтов, консультанты сказали, что крутизна поболе «Емелькиной шапки».

Партизаны (актеры) засели на вершине. Японцы (приглашенные для съемок красноармейцы) ринулись в атаку. Даже у подножия трудно было передвигаться, но атакующие шли вперед.

Васильевы замерли на месте: не ожидали. Оператор перестал снимать. Сергей Дмитриевич махнул рукой: продолжать — все равно далеко не пройдут. А красноармейцы — продвигались. И — одолели всю «сопку».

— Ведь я же не предупредил их, что брать сопку не надо. Нарочно, чтоб было естественней, не предупредил!— воскликнул Сергей Дмитриевич.— Я же был уве-

рен, что они не сделают и десяти шагов наверх,— он засмеялся.

Смеялись все: и съемочная группа, и «партизаны», засевшие на вершине, бородачи-консультанты, смущенно улыбались красноармейцы на вершине взятой «сопки».

— Переснять!— скомандовал весело Васильев.

В театре за время его отсутствия собрались ставить «Бориса Годунова». Блинова прочили на роль Лжедмитрия.

Борис чувствовал себя неуверенно. Как надо читать? Послушать, как читают другие? Надо. Изучить технику стихосложения? Надо. Как найти легкость образа?

И совсем он приуныл, когда Зон и Сойников перерешили и предложили ему главную роль.

Он перечитал, как играл Шаляпин в опере, он слушал арии Годунова в его исполнении, всматривался в фотографии Шаляпина. Перечитал историческую литературу.

За что зацепиться ему? «Душа роли». Какой он — Борис Годунов? Вот Шаляпин пишет, что в рассказе Ключевского фигура царя рисовалась такой могучей...

У него огромная сила воли и ум, он желал сделать русской земле добро, а создал крепостное право. Борис одинок. У него быстрая мысль и стремление к просвещению. Но он преступен. Шаляпин, следуя замыслам Пушкина и Мусоргского, играет преступного царя Бориса.

Блинов созвонился с Черкасовым и сказал, что коечто хочет у него выпытать. Он знал, что Черкасов когда-то начинал в Мариинском театре, где пел Шаляпин.

Через несколько дней они сошлись на студии, и Черкасов в гриме царевича Алексея приступил к показу, как играл Шаляпин.

Борис весь подался вперед. Он так и прослушал всю роль. Черкасов не только играл, но и напевал.

Борис выдохнул под конец: «Да-а...» А Черкасов опустился в кресло, и голова его ушла в плечи: устал. Потом медленно заговорил:

— Слово у него было всегда объемным... он был хозяином реплики, монолога... не говоря уж о безграни-ичном перевоплощении... Как он ходил по сцене! Ни одного лишнего движения, даже в ступне... Ну вселил я в тебя дух или нет?— весело спросил он. Борис молча пожал ему руку.

В ТЮЗе Годунова гримировали не так, как Шаляпина: монгольские черты, черная борода, крутые черные брови. Тюзовский Годунов был русоволос, у него остался

монгольский нос, стриженые волосы и русская бородка, холеная вначале, а потом совсем жидкая.

Блинов шел наощупь. Перечитывал и перечитывал драму. На листе бумаги сначала шли одни вопросы. Хитрый царедворец? Умереть не подданным, а царем? Ради этого он добивался трона? Умен, а потому и право имеет?

Потом ответы-восклицания. Властвовать! Перешагнуть через кровь... и — забыть! Всех любить!.. «Да правлю я во славе свой народ, да буду благ и праведен...»

Лжет он или нет, когда, приняв венец, говорит: «Ты, отче патриарх, вы все, бояре, обнажена моя душа пред вами..?»

Лжет! Но очень искренне, сам хочет верить, что не было лукавых помыслов.

И правит. Шестой год. Спокойно. Но наступает прозрение: «Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать — но отложил пустое попеченье: живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых». Живая — власть — для черни — ненавистна, пусть даже он старался быть добрым: «Я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы... я выстроил им новые жилища...»

И если власть куплена хотя бы ценой одной человеческой жизни, такая власть не принесет счастья, говорит Пушкин. Совесть замучила Бориса, «как язвой моровой душа горит... Ужасно! жалок тот, в ком совесть не чиста».

Единственное утешение? Дети. О них все помыслы. Среди них он отдыхает. Сын учится. Сын дороже «душевного спасенья». Сын невиновен. Отец за все ответит перед богом.

У Блинова хорошо получалась сцена с детьми: Ксенией и Федором. Сцены с Шуйским, которого играл Любашевский, удались. А вот преглуповатому патриарху, который шамкает и у которого свистят все шипящие, сквозь зубы скажет: «Не смотри на меня...»— и едва не расхохочется. Какое уж тут вживание в образ? А все дело в том, что патриарха играл молоденький, тонкий и длинный, с нежным лицом Леля — Павел Кадочников. Никак Блинов не мог увидеть в нем старца.

Иногда он перешагнет через это, сосредоточится: страшно станет, настоящий пот прошибает, вытирает платком...

После премьеры все поздравляли Блинова с удачей, а сестра Катя глядела на эти поздравления и с неприязнью думала: «Как им не стыдно? Лицемеры... Ведь

не получилась же роль...»— и расплакалась. Борис недоуменно спросил:

— Ты чего?

Она все плакала и не отвечала, повернувшись в гримерной в угол. Высокая и статная фигура сгорбилась, волосы выбились из-под шляпы. Пока он разгримировывался и одевался, она успокоилась, только все молчала.

— Кать, ну ты чего испортила всем премьерное настроение?— спросил он с усмешкой.

— А чего они... врут?— с обидой сказала она.— Не получилась у тебя роль.

— Я ж тебе говорил, что не надо ходить на сырой спектакль,— упрекнул он. — Ты максималистка, Катя. Тебе сразу подай. Ничего, сладим и с Годуновым.

Он проводил ее до трамвая, а сам заторопился снова к театру.

И все-таки Блинов добился своего. В его отсутствие, когда он был на съемках, Годунова играл его товарищ. Теперь Борис сидел в зале, внимательно, напряженно вслушиваясь в голос партнера, и вдруг сделал едва заметное движение головой. «Нет,— радостно ухватился он за свою мысль.— В этой фразе я бы расставил знаки так: «Слыхал ли ты когда, чтоб мертвые (!) из гроба выходили (?) допрашивать царей, (!) царей законных (!), назначенных (!), избранных всенародно (!), увенчанных великим патриархом?»

И он еще раз про себя повторил эту фразу. Отсюда Годунова начинает захлестывать отчаяние... Страшно не за себя, за сына!.. Уберечь, спасти от известия о воскрешении Димитрия любыми средствами!..

— Поэтому, — «что день, то казнь...»— проговорил он вслух, и мысль его продолжала свой, наконец-то найденный путь: «Две темы: Годунов и народ. Годунов и его дети». С народом не сумел поладить: «Твори добро — не скажет он спасибо; грабь и казни — тебе не будет хуже».

Остается сын. Торопится, торопится передать сыну заветное, выстраданное, умоляет бояр «Служить усердием и ПРАВДОЙ!» Служить правдой, потому что Федор еще млад и непорочен (!). Вот главное утешение царя: сын непорочен.

И вот Борис, после перерыва, вошел в спектакль. Это был такой взлет, что партнер подал заявление. Об уходе. Они дружили, но играли уже в разных театрах.

Много писали в те годы и о спектакле «Первая вахта» Вальде,

Как вспоминает Е. Б. Фирсова, «на репетициях Борис был всегда очень активен, изобретателен, много фантазировал и для себя и многое подсказывал партнерам.

В спектакле была сцена Блинова и Ускова — оба отличные артисты. В этой сцене шел буквально поединок по изобретательности, была масса «отсебятины». Оба они старались друг друга перегнать в остроумии, находчивости (сцена это позволяла). А то старались смешить партнершу — артистку Н. Замятину.

Грешен был Борис — очень любил рассмешить партнера, сам сохранял серьез, конечно».

Блинов играл боцмана Дукина в «Первой вахте». На нем мешковатый китель, лицо изменено толстым носом и усами, в руках трубка. Боцман не говорит, а только слушает своего партнера, но публика и артисты из-за кулис глядят только на Блинова.

По сцене он ходит так, как будто это и есть корабль.

Все удивлялись, откуда у него эта правда образа. И никто не мог знать, потому что Борис никому не говорил, что он плавал на буксире, был грузчиком и в порту насмотрелся на всяких матросов. Брат был моряком. Но сестре Кате боцман показался удивительно знакомым. И когда она сказала об этом Борису, он ответил:

— Еще бы не знакомый. Это наш папа.

Отец был у него купцом когда-то, но манеры, походку, голос Борис взял его.

Отец недомогал, в театр не ходил, а когда принесли газету, со скрытым удовольствием прочел похвальное слово о сыне.

— Владимир Иванович,— певуче спросила располневшая Наташа,— что-то приятное прочел?

— Как скать,— Владимир Иванович пытался быть как всегда осторожным, когда речь шла о младшем.— Как скать... Да. Принеси-ка — ножницы. Статью Марусе вырежу.

Старшая дочь получила в Москве отцовскую вырезку. Яркие, огромные, как у брата, глаза. Она покачивала головой от удивления:

— Ну, Борька, откуда что у него? А?— И с удовольствием перечитывала строки: «Блинов — отличный актер, обладает высоким чувством художественной правды, с ярким и своеобразным комедийным дарованием, с хорошим театральным вкусом, превосходно разработана речевая сторона роли, характерное словечко «как сказать» звучит необыкновенно уместно».

В прошлом году театр приезжал в Москву. Борис играл индейца Джо в «Томе Сойере».

— Маруся, ты когда смотрела, то кого видела — меня или индейца?—настойчиво допытывался он.

— Тебя, Боренька,— виновато ответила сестра.

Борис огорченно махнул рукой.

— Приходи на другой,— пригласил он.

Это и была «Первая вахта». Маруся закрывала лицо рукой, чтоб не рассмеяться в неподходящих местах: очень уж брат копировал родителя.

Но Борис не был бы Борисом Блиновым, если бы он застыл раз и навсегда на том, что нашел.

По натуре своей он был импровизатором.

Вот на палубе матросы вяжут узлы. Одному из них (Кадочникову) попала в рот веревочная крошка. Он увлекся узлом и жует эту крошку. Боцман Дукин нависает над ним:

— Товарищ Египко!— Тот вскочил.

— Что вы жуете?

— Крошка попала, товарищ боцман,— матрос вытаращил глаза.

— Пойдите и немедленно выкиньте ее за борт!

Зал хохочет, за сценой актеры тоже: разве можно еще лучше, чем сейчас это придумал Блинов, показать въедливость боцмана?

Эти реплики ввели в пьесу.

Ему надо было абсолютное чувство правды.

Вспоминали случай на «Сказках Пушкина». Зон сидел в зале, вел репетицию. Вдруг из-за кулис раздался топот, похожий на галопирование.

— Кто там? Что за стук? Перестаньте!— закричал Зон.

— Это я, Борис Вульфович,— раздалось в ответ блиновское басовитое,— пытаюсь определить, как чувствует себя лошадь в галопе.

Зон снял очки, стал вытирать глаза, а потом не удержался и расхохотался вместе со всеми актерами, которые тоже сначала сдерживали себя.

«Он вел очень большую работу по самодеятельным драмколлективам. Безотказно выезжал в область на смотры. Я почти всегда была с ним. Однажды в такой поездке с нами был Б. П. Чирков. Мы ездили в Сланцы. Были дней пять-шесть. Просмотрели множество спектаклей.

Борис на обсуждениях давал очень много дельных советов. Никогда не унижая актера самодеятельности, он умел беспощадно расправиться с фальшью и кривлянием, которых не выносил.

Помню, как досталось от него исполнителю Ярового. Тот очень картинно появлялся перед публикой в первом своем выходе. Борис перед всеми так его скопировал, что все покатились с хохотом! А герой, наверное, запомнил данный ему урок».

(Из письма Ю. Н. Шемякиной).

Много встреч — по-прежнему киноактеров приглашают в гости. Короткие интервью в газетах:

«В Кронштадте побывали на линкоре «Октябрьская революция», вечером — на трибуне клуба им. Ленинского комсомола».

«Нас пригласили в Н-скую авиаморскую часть. Встречал командир эскадрильи, майор, он только что вернулся с финской территории. Через два часа он снова вылетает. За это время ему хочется посмотреть картину «Четвертый перископ».

«Оказали шефскую помощь: привели в порядок сцену, сократили в пьесе лишнее, кое-что устаревшее поправили, развили мизансцены, дали кружковцам несколько предметных уроков. Приготовили несколько театральных костюмов, парики, грим, отрывки из «Первой конной» Вишневского».

«Любимый твой герой — сейчас вот такой обыкновенный — стоит в очереди в баню или трясет в воздухе ногами с прикрепленными лыжами, уйдя глубоко в снег от неумелого катания с Кировских гор».

Следовали одно за другим приглашения сниматься в кино, и все — на роль политруков. Они отличались только фамилиями, и Блинов отказывался от них так же настойчиво, как ему их предлагали. И все-таки на одну роль он согласился.

А потом был просмотр кусков... «Политрук Колыванов» не вышел. Сценарий Б. Горбатова и И. Вершинина на конкурсе оборонных фильмов занял первое место. Характеры красноармейцев и политрука Федора Колыванова были яркими в сценарии. Фильм по тому времени должен был иметь успех... Но... картина получилась бледной. После того бума, который имел «Чапаев», даже более сильные фильмы, чем «Колыванов», не звучали.

Блинов тяжело переживал неудачу с «Политруком Колывановым», Прибавилось еще и личное.

Желание быть отцом у Бориса было сильное. Временами это омрачало его отношения с Юлией Николаевной.

Размолвки Борис старался быстро гасить. Один раз так. В коридоре стоял старый венский стул с запиской от отца: «Боря, нашел на чердаке, вспомнил, как ты его возил».

С трогательной улыбкой смотрел Борис на облезший стул, вошел в квартиру, поставил его посреди комнаты, стал на колени:

— Юля, ты можешь представить, каким высоким он мне казался когда-то? Я прятался за него. Смотри! — и он пополз за задние ножки.— А теперь смотри!— он поднялся, молодцевато развернул плечи.— Богатырь?

Но на этот раз размолвка была серьезной. Юлия Николаевна уснула под утро с больной головой. Утром долго лежала неподвижно, потом вяло протянула руку под подушку. Обычно они подкладывали друг другу записки. На этот раз был нарисован ребус, который она с улыбкой расшифровала: «Юльга саранча, Юлюшка хорошая». В конце был сделан рисунок обычный: удивленно сидящий медвежонок — и подпись: «Это я — Мише-Моква». На столе лежал зеленый огурец с запиской: «Кушай огурец и кричи: «Зиме конец!»— Мала-мышь».

Вечером вернулась со спектакля поздно. Дверь открыла высоченная голубоглазая горничная с бантиком на голове и в белом передничке. Горничная восторженно сказала.

— Барыня пришли! Барыня пришли!— и стала стаскивать с вошедшей пальто и туфли, потом подхватила на руки, понесла в комнату и стала потчевать сосисками.

— Ну, Борис, ну, перестань, ну я устала,— твердила Юля, но «горничная» прислуживала весь вечер и утро и еще проводила в институт.

Больше о детях не говорили, Борис стал уединяться, а если приходил к Кате, сразу шел к шкафчику. Она с тревогой следила за братом. Один раз ей сказали, что на сцену выходил нетрезвый.

Гордая и самолюбивая, переживавшая все его неудачи как свои собственные, она плакала от стыда за него, звонила Нине, но та холодно отвечала, что ей никакого дела нет, какой он теперь образ жизни ведет. Когда же он ушел от Юли, Нина нашла его. Примирение было бурным, с взаимными упреками, но состоялось. А тут новая роль. Четыре месяца на море, среди матросов, среди балтийцев.

Роль большая, главная, актеры прекрасные, режиссер

не горланил, по выходе — рецензии хвалебные, благодарность от заместителя народного комиссара, поездки кинобригады на Черноморский флот. Запланировали еще и на Тихоокеанский.

Но все чаще стал приходить Борис из театра раздраженным, все чаще слышала Нина:

— Уйду...

Он тяготился театром, бросая товарищам упреки, которых они не заслуживали. Он говорил, что они придираются к нему и завидуют ему, разумеется, выпивши говорил, а они с тревогой говорили меж собой, что он не хочет работать. Его тянуло в кино. А в кино приглашали опять только на роли военных.

Как надел он со времен Фурманова военную форму, так и не снял... Кем он только не был: комиссаром, моряком, командиром, политруком, снова матросом, выпала одна гражданская роль — секретарь райкома, затянутый ремнем. Да, так и не снял он военной формы в кино: был еще летчиком, пехотинцем, лейтенантом, полковником, даже фашистским офицером. Другого в кино не предлагали. Конъюнктура делала свое гибельное дело.

А он мечтал о роли городничего.

Сохранилась стенографическая запись творческого отчета Бориса Владимировича, относящаяся к тому времени. Встреча была в средней школе с учениками.

— Как вы себя чувствуете на съемках?

— При команде «мотор» появлялось мышечное напряжение, страх перед глазом аппарата. В фильме «Чапаев» на съемках долго не мог овладеть покоем, чтоб правдиво передать образ Фурманова.

— Что должен уметь актер?

— Актер должен уметь и знать многое.

Подали семьдесят семь записок.

— Сколько вам было лет, когда поступили в театр и сколько лет вам сейчас?

— Двадцать лет, работаю десять лет, сейчас тридцать один год.

— Какая роль в кино больше всего понравилась?

— Владимир Крайнев в «Четвертом перископе», и та, которую еще не сыграл.

— Почему вы пошли в актеры?

— Считал, что здесь принесу больше всего пользы.

— Где снимались «Волочаевские дни»?

— Под Ленинградом и в Ялте.

— Скоро ли выйдет «Политрук Колыванов»?

— «Политрук Колыванов» не выйдет никогда.
— Вы останетесь смотреть «Четвертый перископ»?
— Может, останусь, а может, и нет.
— Какие новые постановки готовятся в ТЮЗе с вашим участием?
— В двух новых постановках я не занят, в других же все будет зависеть от режиссерского распределения.
— Долго ли работали над ролью в «Четвертом перископе»?
— Столько, сколько снималась картина — четыре месяца. В работе над ролью помогла мне военная служба, хотя я служил не на корабле.
— Есть у вас роли не военные в перспективе?
— Затрудняюсь ответить. Не знаю, какие мне дадут роли.
— Какие данные должен иметь будущий артист?
— Окончить десятилетку и иметь талант, так как талант ни купить, ни занять нельзя.
— Мы просим вас помочь организовать театральный кружок.
— Ребята, до сих пор я кружков не организовывал и не умею это делать. Но советом помочь могу.
— Какая ваша любимая роль в ТЮЗе?
— По кусочкам все нравится. В спектакле «Сон в летнюю ночь» я играю с большим удовольствием и весело.
— Можно ли с вами познакомиться? Ваша поклонница.
— Со мной можно знакомиться всем, кроме поклонниц, которых я органически презираю. Им, очевидно, нечем другим заниматься. Впрочем, сегодня не хочется о них говорить (аплодисменты ребят).
— Где больше нравится работать — в театре или в кино?
— Больше в театре, так как играешь роль без перерыва, а в кино по частям, кусочками, и когда смотришь уже готовую ленту, то всегда есть желание переиграть, переделать свою работу.
— Трудно быть актером?
— Трудно, потому что ответственно.
— Как готовитесь к съемкам?
— Стараешься уже на первую съемку прийти с готовым образом. Для этого еще дома придумываешь, как ходит, смотрит твой герой, как он действует, выражает свои мысли и чувства, как одет...

— Что вы чувствуете, если роль не удалась?
— Конфуз, ужасный конфуз, который при хорошей выдержке маскируешь милой улыбкой.

На охоте Борис забывал все свои неприятности, горечь уходила, и даже если была поздняя осень и ничего не удавалось подстрелить, все равно эти выходные оставались в памяти надолго.

Охотничья страсть свела как-то их вместе, Блинова и Чарушина, писателя и художника. Правда, вместе им не так уж часто удавалось быть, но если оба были в Ленинграде, то созванивались и назначали день выезда за город.

Стоял один из таких дней поздней осени. Они находились по мокрым лугам и теперь отогревались в избе лесника. За столом была поллитровка и грузди.

— Евгений Иваныч, а ты когда в первый раз на охоту пошел?— спросил Борис.

— В двенадцать.

Чарушин заулыбался.

— Завидно. А я в двадцать пять.

— Сижу у костра и курю, конечно, большущую трубку. Сам сделал. Готовился быть заправским охотником!.. А добычей был тетерев — черный, на коротких ножках,— у Чарушина заблестели темные глаза.— Прилетел, напыжился, забормотал... косач... красная бровь, как цветок...

Борис поддел на вилку груздь.

— А у меня первой добычей была утка... Принес — говорят, голубая чернь... Название обворожительное... Это мне показалось хорошим знаком. Не какую-то там лысуху или нырка, голубую чернь!.. Ну, с тех пор и охочусь. Утки — любопытные птицы!.. Музыку любят. Шеи тянут из камышей...

— А ты на чем им играешь?— спросил Чарушин.

— Как-то пастушью свирель принес... А вот представляешь, если б литавры из Большого театра?

Чарушин захохотал:— Не представляю!..

Вылез из-под лавки Гончар (гончая), сел, уставил морду на хозяев.

— Уйди с глаз, грубое и примитивное существо,— сказал Борис.— Сожрал всего зайца, а мы грибами довольствуемся.

Гончар вильнул хвостом и убрался под лавку.

Молчавший до этого лесник стал рассказывать про своих деревенских охотников, кто как врал, потом заго-

ворил про собак. Чарушин — про последнюю собачью выставку. Потом улеглись на лавки, лесник — на печь.

— Борис, а что бы ты делал, если б обрел собачье чутье?— спросил Евгений Иваныч.

Борис фыркнул:

— Сам ходил бы, сам чуял бы и сам стрелял...

Евгений Иванович поворочался на лавке. В темноте шуршали тараканы, иногда падали на стол.

«Неужели завтра опять такая погода?— вяло подумал он.—Ничего не настреляем».

За окном глухо шумел осенний дождь. Борис спал. Сонный лесник что-то бормотал на печке.

Чарушин встал, зажег фонарь, писал часа два, трясся от смеха и заснул к утру, оставив на столе писанину.

Утро было серое, промозглое. Гончар, который вчера провинился в том, что съел зайца в кустах и два часа не показывался, сегодня с готовностью вышел вместе с Борисом. Пробежал по двору и вернулся, стряхивая с шерсти брызги, заглядывая в лицо.

Борис поежился, вспомнил о своем рваном сапоге — из него вчера вода брызгала фонтаном, погрозил Гончару пальцем и вернулся вместе с собакой в сторожку.

Чарушин спал, из-под фуфайки виднелась лысеющая крутолобая голова. Борис взглянул на стол. Смутно серел рисунок. Он взял его и подошел к окну.

На рисунке — Борис: на одной ноге стойку сделал. Руки превратились в передние лапы.

— Ага,— буркнул Борис. И стал читать листки.

«Борис — он актер, только с бородой. Бороденка такая остренькая, паршивенькая...»— Борис усмехнулся:— ему в кино надо было какого-то бородатого изображать, так заставили не бриться.

«Моросит, понимаете, на лугах. Черт его знает что. Не то туман, не то дождь. Кругом слякоть. Поздняя осень.

Идем мы мокрые, холодные, по мокрым кустам — зайца шугаем. Борис бредет, кричит:

— Нно! Нно! Зайчики, вылезай! Вылезай! Вылезай!

А то завопит истошным голосом:

— Эх! Тут был! Тут спал! Тут спал! Ночевал!

И до того мы озябли и вымокли, что вы, сухие люди, не поймете. Борис как ступит правой ногой, так у него из дыры в сапоге — жжить!— струя воды.

Сошлись у пригорка. Постояли-постояли, Борис стал философствовать:

— Вот природа человеку дала все. У меня талант черт знает какой. Ум. Внешность. А вот чутья, простого собачьего чутья — нет. Несправедливость. Сам ходил бы, сам чуял бы и сам стрелял... Несправедливость!

Топнул он дырявым сапогом о землю. Жжить! Струя метра на два так и брызнула.

Еще раз поднял ногу, хотел топнуть и вдруг... замер. И, понимаете, побледнел, знаете, глаза стали дикие. Рот раскрылся... Бороденка шевелится... Я тоже как-то испугался. На всякий случай спрашиваю:

— Ты это что? Не Бориса ли Годунова изображаешь?

С ним частенько бывало — он нам кого-нибудь показывал. Нет... Он молчит, он стоит на одной ноге.

— Т-т-там...— говорит, заикаясь.— Там... Чую... Тетерка....

Мне даже жарко стало. В пот бросило. Говорю:

— Иди вперед, иди вперед!..

Как лунатик, с неподвижным лицом и бородою, Борис стал медленно опускать ногу. Вот он опустил ее на землю. Вот прижал. Вот из дырки полилась вода... Вот шаг шагнул, вот другой... Фррр!..

Вырвалась из куста тетерка. И улетела.

— Боги, боги,— прошептал Борис.— Я чую.— И изменившейся походкой на цыпочках пошел в сторону. Я за ним засеменил. Он отстранил меня жестом.

— Я ищу, я чую...— шепчет.

Зигзагами ходит. Как пойнтер. Настоящий пойнтерный челнок... Идет... идет... Стоп! И опять на одной ноге замер.

— Тттетеров...— говорит Боря.

Фррр!— взлет.

Оба стреляем и мажем. Через кочки, по мокрым кустам. Заскакал. Бежит и ружье бросил.

— Назад! Назад! К ноге!— закричал я.

И, представьте, Боря сразу остановился, съежился так виновато, вернулся ко мне.

...Ночь. Молчим. Каждый по-своему переживает. Борис все вздыхает, все нос прочищает...»— Борис расхохотался, и Чарушин проснулся. Поморгал глазами, соображая, что могло произойти, вспомнил, что он ночью тоже трясся от смеха, рисуя Бориса с лапами, улыбнулся:

— Ну, как погода?

— Ни к черту,— весело ответил Борис.

Проснулся и лесник. Стали готовить завтрак.

— Продолжение будет?— спросил Борис.

— Нравится?

— Забавно,— посмеивался одними глазами Блинов.— Но надо конец. Нет, здорово ты меня!.. Значит, я нос прочищаю, а ты, небось, уж думаешь, как бы это побольше настрелять из-под меня?

— Само собой,— Чарушин открыл консервы.

— Надо и второй день описать,— оживился Борис.

— Я это попробую в Ленинграде,— ответил Чарушин.

Рассказ был дописан. У него стало другое начало, добавили третье действующее лицо, а продолжение и конец следующие:

«А я все думаю, как бы это настрелять побольше из-под Бориса. Пришли в деревню. Фельдшер в деревенскую больницу сбегал, принес градусник.

— Буду ставить,— говорит,— ему во время стойки. Страшно важно знать, как температура — падает или повышается.

Разделись мы, сели за стол. Борис у нас повеселел.

— Я бы,— говорит,— рюмочку выпил, а то совершенно продрог!

— Э, нет!— испугался я.— Тебе нельзя — чутье испортишь. Ты уж лучше чаю,— говорю,— полсамовара выпей и согреешься.

А Степан Сергеич как закричит:

— Горячий чай абсолютно запрещается! Вы сами, Борис, охотник, сами знаете, как горячая пища действует на собачье чутье. Три дня бесчутным будете.

Накрошили ему хлеба в молоко:— На! Ешь!

А ночью смотрим — Бориса в избе нет. А он в хлеву. Босой. На одной ноге. Стойку делает на кур... Ну, тут мы его успокоили, огладили. Говорим:

— Нельзя, нельзя. Это куры... Увели спать.

А наутро, чуть свет, растолкали легонько. Накормили молочком. Не до отвалу, конечно,— и в поле. Фельдшер с градусником, а я с ружьем.

А погода! Погода хуже вчерашнего.

Борис ходил-ходил, совсем продрог. Наконец стал... Говорит — по куропатке.

Стоит несчастный, от холода лязгает зубами. С бороденки каплет. С носа тоже. И черт меня дернул его в это время пожалеть! Уж больно жалостный у него вид был. Мокрый... На одной ноге...

— Утри чутье,— говорю.

И дал ему платок. Из его же кармана достал. Он утерся, чихнул... И тут все кончилось.

В кармане был табак. Платок в табаке.
А знаете, как табак действует на собачье чутье!»

Глава седьмая

В ушах плач, крик детей и женщин. Только что Блинов и Нина Гавриловна пришли с вокзала — провожали Катю. Она уезжала со своими детьми и с группой в сто человек директором детдома. Эвакуация.

Надо собираться и им с Ниной. Вещей — минимум. Вылетают пока самолетом, а там до Алма-Аты эшелоном.

Герасимов начал фильм. Но съемки от случая к случаю: город обстреливается. Вся группа едет вместе.

Пока Нина Гавриловна складывала чемоданы, Васька сыто лежал около дивана и только поводил коричневыми глазами.. А когда хозяин спрятал ружье в чехол и стал заматывать его в одеяло, Васька начал повизгивать. Потом хозяин вздохнул, взял пса за ошейник. Поехали в аэропорт. Пришли проводить Ирина с Сергеем. У самого трапа дежурная предупредила:— Животных нельзя.

— Это не животное, это Васька,— буркнул Борис.

— Товарищ Блинов,— сказала строго дежурная,— я очень уважаю вас, но приказ есть приказ.

Очередь сгрудилась, зароптала. Блинов с терьером отошли в сторону. Терьер беспокойно переминался, нетерпеливо заглядывал в глаза, но глаза хозяина были словно остановившиеся.

Когда оставались минуты до конца посадки, Блинов снова подошел к дежурной.

— Вы видите, что я взял лишь небольшой чемодан? Только потому, что собака должна быть со мной.

— Вы летите или нет?— строго спросил подошедший милиционер.— Беда с этими актерами!..

Летчик высунулся в окно:

— В чем дело?

Нина Гавриловна умоляюще тянула Бориса за рукав.

Блинов с застывшим лицом повернулся в сторону провожавших, высмотрел Михаила, потом показал рукой на собаку. Михаил торопливо бежал навстречу. Блинов передал ему Ваську. Поднялись в самолет, и сразу заработали винты, самолет двинулся по дорожке, а когда уже стал отрываться от земли, Васька вырвался из рук нового хозяина и понесся по летному полю, догоняя с визгом непонятную черную точку, исчезавшую в небе.

Борис не видел, как металась собака, а когда заметил на коленях у генерала болонку, Нина Гавриловна поняла, что сейчас случится что-то ужасное. Она придерживала рукав мужа и вполголоса говорила:

— Боря, Боря... успокойся... ведь уже ничего не сделаешь. Боренька... Не обидит нашего Ваську Михаил...

Борис прикрыл глаза и тяжело перевел дыхание.

— Меня бесит,— процедил он,— почему одним можно, другим нельзя...

Полтора месяца их эшелон добирался до Алма-Аты. Помощник начальника эшелона — Тамара Макарова. Она ходила с пистолетом под шубкой и действовала очень энергично.

Для студии выделено было большое здание, которое занимал театр оперы и балета, а работников студии сначала разместили в гостинице.

Ни на один день не прекращались съемки начатых фильмов, среди которых были «Оборона Царицына» Васильевых, «Пархоменко» Лукова, «Котовский» Файнциммера, «Машенька» Райзмана, «Как закалялась сталь» Донского, «Парень из нашего города» Иванова и Столпера.

Электроэнергия студиям отпускалась в ограниченных размерах и главным образом в ночные часы.

Воинские части для съемок батальных сцен выделялись с огромным трудом и на очень сжатые сроки. Не хватало рабочей силы, недоставало лесоматериалов, и особенно плохо было с бензином.

Алма-Атинская студия располагала примерно пятьюдесятью актерами, которых едва хватало на три-четыре картины. Помогал театр им. Моссовета, находившийся в Алма-Ате, Ленинградский драматический театр, эвакуировавшийся в Новосибирск.

В городе все было необычайно после голода, бомбежек, после сорокадвухдневного пути из Ленинграда: покойно, ковер на лестнице в гостинице, белая постель, электричество. Вместе с этим было и холодно, и с продуктами туго.

Блиновы поселились в маленькой гостиничной комнатке, куда через полгода приехал после ранения Виктор с женой, матерью, сыном, жили четыре месяца, пока Вагановы не устроились в Бурундае. Несколько раз наведывался туда Блинов, приходил в город Виктор, иногда на охоту в горы отправлялись.

О своем настроении писал Борис сестре Кате, в Яро-

славскую область, надеясь, что младшая сообщит старшей:

«Алма-Ата 2. 5. 42 г.

Дорогие мои сестры! Ишь ведь как судьба разбросала нас всех по разным направлениям. Но уверен, что не за горами то время, когда мы снова увидимся и будем жить там, где захотим, а не там, где приходится.

Судя по твоему письму, Катя, вы с Марусей и детьми находитесь, хотя и в весьма относительном, но все же благополучии.

В данное время меня больше всего беспокоит отец. Судя по его последнему письму от 17.1., у него положение плохое. В конце письма он просит: «Поспеши прислать посылку, чтобы поддержать жизнь», «помогите» и т. п. Но что я могу сделать? Ведь посылок не принимают. Телеграфировал ему, чтобы сообщил адрес Сергея для организации ему коллективной посылки, но ответа не получил. Все, что я мог сделать,— это правительственной телеграммой обратился в Кремль к В. М. Молотову с просьбой помочь отцу в Ленинграде (послана 26. 3)... (Дальше в письме идут сообщения о друзьях Бориса — кто, где и как — Н. П.). Что касается меня, то мы, слава богу, сыты, имеем хорошее жилище и работу, что самое главное. Я в штате Центральной Объединенной Кино-Студии. С 25 февраля поступил в штат с оплатой по высшей категории, т. к. сейчас, во время войны , в театре, где деятельность распространяется на сравнительно небольшой круг людей, работать не хочу и не думаю и уверен в том, что в кино принесу гораздо больше пользы. 8-го апреля был призван в кадры армии и назначен в одну из кавалерийских частей Средне-Азиат. В. О. на командную должность, как и полагалось мне, как мл. лейтенанту. Работа моя пока должна была заключаться в отборе лошадей для конницы. Думается, не совсем разумно это. Я понимаю, если бы я нужен был фронту! А объезжать и оценивать экстерьер лошадей может специалист другой, с большим успехом, без потери сотен тысяч государственных денег по оборонным фильмам, где я уже начал сниматься.

Короче говоря, как это следовало ожидать, я решением Совнаркома СССР был возвращен на работу с индивидуальной броней на 1942 год.

Работаю сейчас в картинах: 1. «Школа подлости»— сценарий немецк. писат. Б. Брехта — реж. Пудовкин (кстати, доволен, что встретился с ним в творческой ра-

боте) 2. «Ванька»— реж. Рапоппорт (режиссер «Профессора Мамлока» и «Музык. истории»), и «Оборона Ленинграда» — реж. Герасимов, и еще много в перспективе.

С одним человеком написали короткометражный комедийный сценарий на фронтовую тему. Сценарий студией ГУКа, говорят, принят.

Здесь был несколько раз на охоте. Охота очень добычливая, но мне не нравится. Не красивая.

Вот приблизительно все обо мне.

Родные мои! Я понимаю и знаю, что вам сейчас очень тяжело. Хочу вас уверить, и имею на это основание, что трудное время вы уже пережили и оно уже позади. Прошу вас об одном, без всяких sthepetille di lon hommes написать мне, чем и как могу вам в чем-либо помочь. Привет ребятам.

Борис».

Приписка Нины Гавриловны: «Целую вас обеих крепко-крепко. Получила телеграмму от своих, что живы и здоровы. Пишите, Нина».

Озерко было небольшое, поросшее старым и молодым камышом. Молодые стебли светились на солнце ярко-зелеными полосками. Вода в озерке мутно-зеленая, с легким налетом пуха. По воде расходились круги — рыба играла.

Сергей Столяров, с которым Блинов сошелся в Алма-Ате, тоже заядлый охотник, сидел отрешенный, слушал шелест камыша, писк ласточек, легкое хлопанье поплавков — это Блинов забрасывал удочки. Сергей лег на траву и заснул: устал за ночь. Будто все декоративное, чужое. Сергей говорит про Подмосковье, Борис — про Ленинград.

Писал своим: «К ямке от следа сапог, быстро наливающейся желтой, болотной водой,— припал бы лицом».

Вылетела утка из камышей.

«Пошла!.. Красавица!.. Голубая чернь!..»— глаза Бориса засветились и погасли. За утро нахлопали порядочную связку дичи. Теперь надо найти прут, увешать его и преподнести Вале Серовой. «Ожерелочку» она обрадуется. Именинница.

«Боря, милый, у меня сегодня бешеный день, приехали с фронта, помнишь, я рассказывала, они меня встречали, как королеву, теперь я должна готовиться принимать...»— все это выпалилось на одном дыхании, она убежала принимать фронтовых знакомых.

В воображении встало лицо Вали Серовой, круглое, с тонкими бровями, маленькая фигурка с чуть поднятым

левым плечом. В душе шевельнулась нежность, но он прогнал с облегчением ее нечаянное появление.

Пригласили на роль полковника. Четыре незначительных эпизода. В сценарии — просто полковник. Безликий. Фантазируй, Блинов, сколько хочешь, сочини биографию, придумай говорок, внешность... Интересно, что Зон думает ставить в театре? Трудно им там, в каком-то кузбасском городишке. Поговаривают, что в Новосибирск переведут. Ладно, начнем все-таки думать о полковнике.

Борис стал припоминать внешность всех своих знакомых полковников. И остановился на густых бровях и небольших усиках, как у... Ворошилова.

Теперь биография... Первый эпизод...

Сидел долго, полусогнувшись, не замечая, что солнце начало клониться, потом будто проснулся, упруго вскочил, расправил плечи, тихонько засмеялся и начал декламировать шутливое сочинение Чеснакова:

> Мерцают звездочки немнОГО,
> Как будто холодно чуть-чуть,
> И от безделия дневнОГО
> Как будто хочется заснуть...

Столяров проснулся.

По дороге Борис рассказывал о недавней поездке в Ташкент. Приятель слушал очень сосредоточенно. Потом сказал:

— Погодин прав. Надо обязательно показывать истоки фашизма. Мы показываем только следствие, а между прочим, причины можно показать не менее интересно.

— Сергей,— Борис искоса поглядел на него,— как ты считаешь, не попробовать ли нам еще один сценарий.

— О чем?

— Об этих самых истоках фашизма...

— А материал?

— Рассказы антифашистов...

— Надо подумать,— кивнул головой тот.

В Ташкент Борис ездил недели три назад. Пригласили на роль. Зашел к Капе Пугачевой. У нее Погодин.

— Боря, ты мне очень нравишься.— Капа разливала суп.— Какой-то ты... окрыленный... сияющий!..

— А меня Пудовкин пригласил сниматься,— глаза его засветились.— Роль небольшая, но крепкая... Фашист... офицер. Вообще весь фильм — из новелл Брехта. К тому же...— он засмеялся довольный,— я снимаюсь вместе с самой красивой женщиной... Софой Магарилл.

— Борька!— Капа округлила свои прозрачной голубизны глаза.— Ты делаешь успехи! Поздравляю!

Хорошая дружба была с Капой Пугачевой. Она уехала в Москву в тридцать третьем году. Не хватало ее смеха, ее телефонных звонков по утрам, прогулок, которые они совершали, возвращаясь из театра. И в театре ее не хватало. Был как-то в Москве — забежал. Поговорили тепло, Борис — нараспашку. Никто в театре так не понимал его, как она. Вспомнил, как началась его привязанность. Шел спектакль. За кулисами полутемно, свет синей лампочки. Он стоял, дожидаясь своего выхода. Подошла она, только что со сцены, вся еще там, в спектакле. Возбужденно и отрешенно посмотрела на него. Прошло несколько минут. Взглянула пристально:

— Боря, я все хочу у тебя спросить: почему ты такой мрачный?

Он усмехнулся, ничего не ответил, только легонько коснулся ее руки.

Позже, в письме, написал: «Этот вопрос мне задавали многие: «буржуазные» девушки, деревенские девчонки и пароходные девки. Но никто с таким участием и теплом, как ты».

Через нее он познакомился с Александрой Яковлевной Бруштейн. Капа привела его как-то к свекрови.

— Что это за парень?— спросила Бруштейн, когда он ушел, так и не разговорившись на их вечере.— У него совершенно дремучие глаза. Видишь, что ему невесело, а дальше — ничего.

— Нет, даже я его не разговорила!— Александра Яковлевна не могла успокоиться.— Минус, минус...

— Он всегда такой,— сказала Капа.

И вот Капа сумела. Сдружились. Надолго. Мог поверять ей сокровенное.

С фильмом что-то застопорилось. Неужели не выйдет? Жалко будет. Особенно жалко будет Пудовкина. Столько сил, фантазии вложил... Во всяком случае с Пудовкиным у Бориса симпатии обоюдные. После братьев Васильевых в кино это самый «его» режиссер. Дала бы судьба возможность поработать еще вместе.

Каким же был Блинов в пудовкинском фильме? Вот что писал Л. Парфенов в 1962 году в журнале «Советский экран»:

«В фильме военных лет «Убийцы выходят на дорогу» (1942 г.), поставленном В. Пудовкиным и Ю. Таричем по новеллам Б. Брехта, он (Блинов) создал образ штурмо-

вика Тео. Бросалось в глаза прежде всего внешнее изменение актера при почти полном отсутствии грима.

Это был Блинов и в то же время не Блинов.

Это было его лицо и в то же время не его. Гладко прилизанные волосы, какое-то по-детски восторженное удивление в широко раскрытых глазах — и перед нами возникал образ странного существа, фанатически преданного вбитой в его голову человеконенавистнической философии.

Он не был страшен внешне, он не был отталкивающ, он временами мог даже показаться симпатичным, но за этой маской актер обнажал чудовищную опустошенность личности, полное подавление всего человеческого слепым и беспрекословным подчинением маниакальной идее.

Роль Тео стоит особняком в кинематографическом творчестве Блинова, но она красноречивое доказательство тому, как много еще мог бы сделать этот актер на экране, как разносторонне было бы его своеобразное и очень яркое дарование».

Глава восьмая

Шел слепой дождь, сбивая листву, падая вместе с листьями. Листья падали на землю, часть их ложилась на иголки сосен, набивалась меж сучков, и они висели, поблескивая на солнце.

Борис весь промок и проголодался. Добыча была невелика — две горные куропатки. Одну решил зажарить. Костер горел, согревал, обмазанная глиной куропатка доходила на огне.

Думал о Ленинграде. Там уже пятое по счету снижение норм хлеба. От брата из Мурманска никаких вестей. Жив ли?

Подбросил ветку в костер и опять согнулся. В глазах смертельная усталость. Они будто провалились, и от этого непомерно большими кажутся белки. Весной он был оптимистичнее. Не дает покоя мысль: почему отступают наши? Перебирает встречи с военными. Кружатся лица, как в калейдоскопе. Нет, это от нездоровья и бессонных ночей. Уснуть бы. Глина на куропатке трескается. Он вяло ест разопревшее мясо. И засыпает, пристроившись на лапнике.

К вечеру надо в город, на съемки.

Странная зима в Алма-Ате. Идет, идет снег и тает.

Жидкая каша на дорогах. А по радио вести — сооружают ледовую дорогу через Ладогу. Ладогу он знает. В это время там штормы и пурга. Лед неустойчив.

Прошел первый санный обоз. Автоколонна. Это уже лучше. Об этом говорят все ленинградцы тут — в Алма-Ате.

От отца получил письмо. Его тоже вывезли зимой, вместе с другими — эвакуация шла по «дороге жизни». Отец на Урале.

Короткие известия Совинформбюро. Блокада. Ленинград борется. А здесь они снимают фильм за фильмом. На студии 6° тепла.

Ключ назывался Источником красоты. Борис узнавал его еще издали по березкам, увешанным лоскутками. По поверью, умывшиеся люди оставляли вместе с лоскутками свою старость здесь, у источника. Бежал ключ из-под камней, к дороге выбивался чистой струйкой, через тропу проделал себе канавку и спускался к речке.

У ключа разросся хромоногий тополь и пустил вокруг себя поросль; одна березка состарилась, кора стала серая: обтрепали ветры, исхлестали дожди; рябине не хватало места, полезла выше; осенью она с кистями ягод бедет поярче, чем убранная выцветшими тряпочками береза.

Черной велюшкой вдали мелькнул орел и начал плавный облет вершин, приближаясь, розовея под солнцем распластанными крыльями.

Мысли в горах спокойные, чистые, желания неохватные... Но на этот раз спокойных мыслей не было, а было предчувствие чего-то недоброго. Хотелось стряхнуть какую-то давившую тяжесть. С тяжелым вздохом Борис откидывался на траве, выпрямлял грудь, но уже ощутимо болели плечи, и тяжесть не проходила даже здесь, у ключа.

Он перекинул ружье через плечо и стал спускаться к своим, где белела палатка съемочной группы.

Вчера была трудная съемка. Они, сбитые летчики, должны уходить от преследования — по болоту. Так и провозились целый день в болоте — мокрые, грязные, голодные. Сложили свой паек-лапшу — сварили на воде, похлебали, выпили спирту для согрева.

— Это не дело,— бурчал Борис.— Сергей, рискнем за козлами.

Столяров молча кивнул.

Вечером вся группа вглядывалась в сторону гор. Наконец на тропе показались согнувшиеся под тяжестью туш Блинов и Столяров. Все кинулись навстречу. Два козла были свалены у палатки. Началась суета, кого-то послали в больницу выпросить уксус, чтоб вымочить мясо. На другой день ели котлеты...

Борис чувствовал озноб.

— Ничего, Боря, тяпни под котлеты, с перцем, по-русски,— успокаивал Свердлин,— пройдет, это ты малость в болоте продрог.

— Конечно, пройдет,— отстукивал Борис зубами.

Валя Серова приложила руку ко лбу.

— Боренька, ты весь горишь... Ребята, у него же температура!..

— Ничего, мой спутник, ничего,— успокаивал ее Борис,— сейчас будет жарко!.. Сейчас мы будем бить из пулемета и кидать гранаты левой рукой...

А ночью весь горел и трясся в ознобе.

— Борис,— режиссер фильма «Жди меня» Столпер тревожно смотрел на его ввалившиеся глаза и осунувшееся лицо с заострившимся носом,— может, прервем съемку?

— Ну вот еще,— заупрямился он,— поторопитесь лучше...

— Сегодня тебя без грима можно снимать,— хмуро сказал режиссер и с тревогой следил, как Борис проводил сцену в землянке. У актера были провалившиеся глаза. Вот он медленно прикрывает веки, из-под правого века долго светится белок.

«Играет или болен?»— подумал Столпер.

— Ну, тогда я отдохну немного...— говорит Борис словами своего героя и ложится на нары. Столпер вздрогнул: поза напоминала мертвеца.

— Надо павильонную завтра,— сказал он в перерыве,— и в больницу. Завтра твое возвращение отснимем, а пока ты будешь поправляться, доделаем все...

— Это у меня малярия,— сквозь сжатые зубы ответил Борис.— Интересно бы у кого-нибудь получить сведения о ней...

— Не у кого-нибудь!— голос Вали Серовой от негодования зазвенел,— а у врача!

— Вы, дорогой мой спутник, чересчур носитесь с этими врачами,— пробормотал Борис,— а у меня абсолютно железное здоровье. Я в октябре месяце в речке купаюсь...

Я вот к целебному ключу поднимусь...— И он побрел по тропе в гору. Свердлин кинулся за ним.

— Какое гнусное химическое соединение — человек,— бормотал Блинов.

— Борис, Борис,— Лев запыхался, схватил его за рукав телогрейки. Блинов медленно осел на землю.

— Только не в больницу,— бормотал он.— Надо закончить, надо озвучить... Пошлый закоулок мысли...

В гостинице, в номере, на стене у кровати, где лежал больной Борис Блинов, осталось нарисованное на стене черное страшилище, вылезающее из болота.

— Что это?— спрашивали его навещавшие.

— Это моя малярия,— усмехался Борис.

— Ты когда ляжешь в больницу?— наседала на него Валя Серова.— Куда смотрит твоя Нина?

— Валя, не буйствуй,— глухо сопротивлялся Борис.— Нине тоже плохо... Я скажу тебе по секрету, что сегодня у меня температура тридцать восемь и семь. Но надо озвучить. Чувствую, что не дотяну... А хочется посмотреть... что у нас вышло,— карандаш его бесцельно чертил какие-то линии по листку.— Хочется...

Глава девятая

В Новосибирске, в своей небольшой комнате, склонившись над столом, писал в своем дневнике Борис Зон. Он вывел «15 сентября 1943 года» и грустно уставился сквозь очки за окно. Он долго сидел так, застыв в скорбной позе. «В сорок первом году он был еще в списках нашего театра, значился на самом первом месте...»

Борис Вульфович вздохнул, перо побежало по бумаге:

«Телеграмма из Алма-Аты от Павла Кадочникова: «Тринадцатого умер Борис Блинов». Мой любимый, огромного дарования актер! Моя гордость, мой ученик! Сколько мечтаний было связано с ним. Нет городничего, нет Скалозуба...

Одиннадцать лет он был с нами и два года в отрыве.

Не хочу сейчас вспоминать ничего худого, оно кажется скорее смешным сейчас, а роли его стоят передо мной, как живые — сочные, яркие — их никогда не забыть».

Зон отодвинул дневник.

Всегда безукоризненно одетый и подтянутый, сейчас

он безвольно выводил какой-то узор, зябко поеживаясь под теплым халатом, накинутым на плечи.

Перед его глазами возникал не стройный ряд последовательных картин, воспоминаний, это были отрывки, отдельные моменты, эпизоды, фразы... воображение вертелось как по кругу, настойчиво выделяя сейчас то или другое.

Рядом с печальной мыслью о невозвратном обязательно поселяется другая: не может быть! не верю! Она помогает переносить боль. Встряхивает.

Снова взялся за перо:

«Знаменитая присяга в «Винтовке», Чулковский в «Музыкантской», там же — могильщик, непревзойденный боцман в «Первой вахте», величественно-глупый и трогательно-наивный Основа в «Сне в летнюю ночь».

А красавец Ратков в «Третьей версте», Али-бек в «Кладе», несчастный Польди в «Продолжении», Грозный в «Правде хорошо», арестант в «Большевике»...

Неудачи его, а они бывали, всегда содержали в себе моменты блестящих вспышек: в «Борисе Годунове» сцена с детьми.

В моем последнем письме к нему я нарочно сгустил краски, хотелось вернуть его для будущего.

Говорят, он носил это письмо с собой и читал приятелям.

Ах, как бы он играл Фальстафа!..

Прощай, мой дорогой, мой талантливый Борис Владимирович. Ты не будешь больше отпрашиваться от репетиций и замаливать грехи «борзыми щенками» в виде нырков и чирков.

Рассказы о твоих репетициях, твоих анекдотах, твои импровизации, шутки будут долго жить среди нас.

Прощай, мой милый Борис. Когда-нибудь я постараюсь подробно вспомнить твою игру и описать ее».

Незадолго перед Новым годом Зон писал статью в новотюзовскую газету: «В 41-м он был еще в списках нашего театра, значился на самом первом месте, в 44-м его не будет, вспоминаем о нем сегодня вместе с уходящим годом».

Полистал дневник, нашел запись. Переписал.

«Вот ты уже и легенда»,— добавил он в конце статьи.

«Товарищи! И к вам я обращаюсь. Память — неверный друг: обманет. Сейчас запишите все, что можете,— о Борисе Блинове».— Зон сложил листок, положил в записную книжку. Впереди был, как и всегда, хлопотливый день в театре. Да еще предновогодний.

СОДЕРЖАНИЕ

Надежда Георгиевна Поведенок

И ВНОВЬ АПРЕЛЬ...

Повести

Редактор **А. Загородний.** Художник **Л. Тетенко.**
Худож. редактор **Б. Машрапов.** Техн. редакторы **Р. Карымсакова, Н. Сайфуллина.** Корректор **А. Аужанова.**

ИБ 1826

Сдано в набор 02.07.79. Подписано в печать с матриц 18.01.80. УГ 14608. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Печ. л. 4,5. Усл. п. л. 7,5. Уч.-изд. л. 7,9. Тираж 100 000 экз. Заказ № 157. Цена 55 коп.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480091, г. Алма-Ата, пр. Коммунистический, 105.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

55 к.